

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См., например: Чижкова Л. М. Из истории подготовки партийных работников (1921–1925 гг.) // Вопросы истории КПСС. 1968. № 6; Андрухов Н. Р. Партийное строительство после Октября. 1917–1924 гг. М., 1973; Леонова Л. С.

1) Из истории подготовки партийных кадров в советско-партийных школах и коммунистических университетах (1921–1925 гг.). М., 1972;
2) Исторический опыт КПСС по подготовке партийных кадров в партийных учебных заведениях. 1917–1975. М., 1979; Довольно полную библиографию по этой теме см. в работе Л. С. Леоновой «Исторический опыт...».

² Леонова Л. С. 1) Из истории подготовки... С. 180; 2) Исторический опыт... С. 171.

³ Руководящие кадры РКП (большевиков) и их распределение. 3-е. изд. М.; Л., 1925. С. 165.

⁴ Леонова Л. С. Из истории подготовки... С. 92–93.

⁵ Там же. С. 32.

⁶ Центральный государственный архив историко-политических документов СПб. (далее — ЦГА ИПД СПб.). Ф. 9. Оп. 1. Д. 5. Л. 8.

⁷ Там же. Л. 10 об.

⁸ Там же. Д. 27. Л. 114 об.

⁹ Вавилин И. Наше студенчество и практическая работа // К пятилетию Коммунистического университета им. тов. Зиновьева. 1921–1926. Л., 1926. С. 18.

¹⁰ Под «прочими» обычно понимали интеллигенцию. Однако изучение материалов распределения «зиновьевцев» в 1926 г. показывает, что в «прочие» записывали себя некоторые партийные кадры.

¹¹ Драницын С. Из истории Коммунистического университета им. т. Зиновьева // К пятилетию Коммунистического университета им. тов. Зиновьева. С. 15.

¹² Леонова Л. С. Из истории подготовки... С. 47.

¹³ ЦГА ИПД СПб. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2798. Л. 6.

¹⁴ Там же. Д. 27. Л. 34.

¹⁵ Там же. Л. 45.

¹⁶ Там же. Д. 75. Л. 25.

¹⁷ Там же. Ф. 16. Оп. 1. Д. 115. Л. 47. Немногим ранее, 26 февраля, бюро Ленинградского губкома по докладу ректора университета С. И. Канатчикова об оппозиционных группировках в Зиновьевском университете решило передать расследование по делу «Рабочей правды» в ГПУ. Вероятно, в июньском решении бюро речь идет о другой группе студентов.

¹⁸ ЦГА ИПД СПб. Ф. 9. Оп. 1. Д. 224. Л. 28.

¹⁹ Там же. Д. 2276. Л. 9.

²⁰ Там же. Д. 2472. Л. 6–21.

²¹ Там же. Л. 65–72 об.

²² Там же. Л. 39.

²³ Там же. Л. 51 об.

C. B. Яров

ОПРАВДАНИЕ ДИКТАТУРЫ: ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ В ПЕТРОГРАДЕ в 1917–1920-х гг.

Защита жестких мер власти, оправдание ее отказа сотрудничать с другими политическими силами, разъяснение необходимости диктатуры являлись важными элементами пропагандистских стратегий в первые послереволюционные годы. Форм, посредством которых осуществлялись эти стратегии, было много. Знакомясь с ними, можно обнаружить и умелую руку публициста, фабриковавшего сплошь заполненными клише листовки, и импровизацию дилетанта, чрезмерно упростившего попавший к нему

агитационный материал. Последняя представляет для историка особую ценность. Она яснее выявляет именно собственные представления агитатора о трактуемом им предмете — то, что мы едва ли уловим под напластованиями риторических штампов в текстах профессиональных агитпропработников, опубликованных в печати.

Типичными импровизациями можно счесть беседы со слушателями во время чтения на собрании «Огнесклада» 10 декабря 1920 г. «Азбуки коммунизма» — популярного пособия, в доступной форме излагавшего марксистское учение. Перед нами, конечно, лишь краткий «протокол беседы». Возможно, упрощенные ответы агитатора стенограммой «беседы» еще сильнее огрублены и примитивизированы. Вместе с тем тут сохранены остатки интерпретаций, предложенных, правда в более усложненном виде, авторами «Азбуки коммунизма».

«Протокол беседы» представляет собой запись ответов и вопросов — без фиксации тех лиц, кому они принадлежали. «Почему нужна диктатура и нельзя мирно осуществить социализм, добившись большинства голосов в Учредительном собрании, как хотели мен[ьшевики] с[оциалисты]-р[еволюционеры]?»¹ — таков один из помещенных в тексте «протокола» вопросов. Соотнесенность первичного текста и его вульгаризированных вариантов здесь предельно обнажена. Вряд ли эсеры и меньшевики придерживались единой тактики по отношению к Учредительному собранию, едва ли они и столь открыто считали его путь к социализму. Возможно, автор вопроса передает только то, что он смог уловить и понять в прочитанном — в силу уровня своего кругозора и своей культуры. Медленный путь завоевания власти пролетариатом посредством получения большинства мест в представительных учреждениях он прямо оценил как путь к социализму, а в противниках диктатуры увидел эсеров и меньшевиков именно потому, что был свидетелем постоянного и целенаправленного шельмования в официальной пропаганде их и главным образом только их. Автору вопроса вся история «учредилки», видимо, не очень ясна — иначе он не мог бы не заметить, что социалистам ничего не надо было «добавляться»: они имели уже в Собрании свыше 60% мест.

На этом и сыграл агитатор, ответивший: «Потому, что это слишком длинный путь, а может быть бесконечный, что мы видим на примере рабочих других государств».² Диллемма сформулирована им так, что нужно выбирать между путем «длинным», хотя и «мирным», и диктатурой, которая этот путь сделает коротким — но и не таким мягким. Последнее подразумевалось, однако вслух высказано не было — и, может быть, неспроста. Трудно установить, знал ли агитатор о Сен-Жюсте, сказавшем: «Святая гильтина... и благодетельный террор творят чудеса, которых от... философии пришлось бы ждать целый век», но смысл его тезиса, как видим, не был утрачен и по прошествии века. Если агитатор именно такой довод счел убедительным и не пожелал дополнить его иными аргументами, то как раз потому, что версия о «засилье» буржуазии в Учредительном собрании уже тогда стала определяющим мотивом при объяснении его судьбы.

Тем парадоксальнее звучит его ответ на другой вопрос: «Как и когда кончится Диктатура пролетариата и когда наступит коммунизм?» Игнорируя вопрос, «Как?», он ничего не говорит и об условиях, при которых исчезнет диктатура. Его ответ краток и прям: «Диктатура пролетариата кончится по наступлении коммунизма».³ Коммунизм, в его представлении, видимо, и есть совокупность тех предпосылок, которые сделают излишним политический диктат. Сам термин, однако, никак не расшифровывался, возможно, учитывая, что он был у всех на слуху. Отсылка к понятию, всем известному

(хотя и не ставшему даже в силу этого достаточно ясным), освобождала агитатора от обязанности подробно рассказывать о механике смены одной системы другой. Тавтология его аргументов предельно обнажена: бесклассовым общество станет тогда, когда общество утратит классовый характер. Но это еще не все. Отметив, что диктатура кончится «по наступлении коммунизма», агитатор тут же добавляет, что время, «когда наступит коммунизм», никому не известно. Противоречие налицо: парламентский путь к социализму «бесконечен», но и о том, когда придет «светлое будущее», никто и ничего не может сказать.

Приемы агитатора кажутся излишне формальными. Никаких теоретических импровизаций он не допустил; может быть, только в «Азбуке» о сроках победы коммунизма сказано не столь анекдотически прямолинейно. Агитатор, однако, не пренебрег «формализмом» ради того, чтобы сделать свои аргументы более доходчивыми и убедительными. Он не убеждал, он просто рассказывал о том, что знал, всегда держась канонической колеи, но упрощая «канон» в зависимости от уровня своего кругозора. Этот «формализм» заметен и в его ответе на вопрос: «Почему ремесленник боится Дик[тату]ры проле[тиата], ведь его капиталисты эксплуатируют?».⁴ Едва ли ответ на него был «практически» важен для вопрошившего. Его внимание привлекли скорее логические неувязки — естественным для уверовавшего в марксизм было желание увидеть теорию непротиворечивой, в чем и полагали ее научность.

Ответ на сей раз был предельно лаконичен и примитивен: «Потому что он не находится в рядах пролетариата» — и, значит, не может оценить своего положения. Ответ мог быть и другим («капитал» обманывает ремесленника, подкупает его, запугивает) — важнее то, что ответ был дан и что он по-своему логичен. В этом случае, сколь бы формальными ни являлись доводы, главным было то, что они могли легко усваиваться. Более сложный ответ мог и запутать слушателя, озадачить его непривычностью терминов и многоходовых причинно-следственных цепочек. Отметим при этом, что упрощенность ответа могла быть обусловлена и примитивностью вопроса. Сбитый с традиционной колеи неожиданной репликой и не нашедший в «Азбуке» привычного клише для ответа агитатор мог так же импровизировать, как и слушатель, задавший вопрос. Тем самым они начинали говорить на общем языке — поскольку в импровизациях чаще происходит апелляция к «житейским» формулам, незамысловатым, но одинаково понятным всем. Тем естественней было на вопрос: «Почему буржуй борется против коммунизма, ведь при коммунизме будет всем хорошо?», получить такой ответ: «Потому, что он привык только распоряжаться, указывать и повелевать, но не привык работать. Поэтому ему жалко расставаться со своим привилегированным положением».⁵

Нередко ответы на вопрос о том, для чего нужна диктатура, бывали еще упрощенее, хотя, возможно, и здесь надо иметь в виду краткость протокольных записей. Иногда докладчик на собрании вообще никак не мотивировал свои утверждения, безапелляционно заявляя: «Диктатура пролетариата... бывает, правда, порой жестокой, но она необходима и будет продолжаться».⁶ Часто агитаторы смешивали диктатуру пролетариата с диктатурой партии, причем один из них, призывая избирать в Совет членов РКП (б), обосновывал это тем, что «при свержении царя и капиталистов главную роль сыграла коммунистическая партия»⁷ — этогоказалось достаточно.⁸ Кое-где обходились и без объяснений: на собрании коллектива РКП (б) и «сочувствующих» Невской бумагопрядильной фабрики 9 августа 1919 г. один из выступавших требовал: «У нас не

должно быть никакой партии как только партия коммунистов большевиков⁹ — и ведь это еще было время легализации социалистов.

Развернутую мотивацию необходимости диктатуры пролетариата чаще можно было встретить в выступлениях большевистских партийных работников среднего и низшего звена. Сам термин «диктатура пролетариата» стал употребляться не сразу, на первых порах предпочитали говорить о «диктатуре Советов», о «полновластии Советов». Защита «диктатуры Советов» в это время происходила в условиях борьбы с лозунгом «Вся власть Учредительному собранию». Все внимание поэтому было обращено на то, чтобы расширить круг полномочий советов и оградить их от притязаний «учредилки». В полемике с последней и обозначились контуры представлений о диктатуре. Потом они затверждались, повторялись как клише, нередко и видоизменялись, не меняя, правда, своего остова. Такое, например, оправдание необходимости «полновластия» (диктатуры) Советов мы можем найти в выступлении одного из активных работников Петроградского комитета РКП(б) А. Аменицкого: «...Перед Советами стоит колоссальная задача проведения в жизнь определенных политических административных положений Советской власти. Следовательно, нужны такие твердые аппараты, которые не имели бы над собой Дамоклова меча какой-то политической организации, которая бы с ними боролась. Необходима вся полнота власти такой, которая сама своими могучими руками могла бы дать определенное направление жизни... Власть Советов должна отличаться одним свойством — всей полнотой».¹⁰

Так подбирались аргументы, которые с разной долей детализации приводились и обосновывались в Петрограде во многих выступлениях устных и печатных — и Г. Зиновьева, и В. Быстрянского, и И. Гордона, и Б. Позерна, и Н. Анцеловича. Петроградские «агитки» нередко перекликались с «агитками» московскими, заимствуя многое из пропагандистских циркуляров ЦК и из писаний других «вождей». Так выстраивалась, хотя и не сразу и не последовательно, — но неуклонно, мотивационная цепочка: власть должна быть безусловной, поскольку призвана решать важные вопросы, ввиду этого власти не должны мешать, а если кто-нибудь осмелится на это, с ним необходимо бороться.

Обязательный атрибут диктатуры — ликвидация всех оппозиционных политических партий. Для мотивации этого использовалось несколько приемов. Часто обращалось внимание на то, что Советской России угрожали опасные и многочисленные врачи, причем характеристики их являлись обнаженно плакатными, без каких-либо полутона. Тем самым слушателя или читателя подводили к мысли о том, что в этих условиях только диктатура спасет «власть трудящихся» — иного пути нет. Идеологические гиперболы применялись даже там, где, казалось, они являлись неуместными — например, при рассказе о забастовках и других действиях рабочих, не имевших, как правило, отчетливо политической подоплеки. Приведем примеры. В июле 1919 г. в Петроград прибыла делегация от московских рабочих. Вот как это событие было оценено в обращении Комитета обороны, опубликованном на страницах «Петроградской правды»: «В Петроград нахлынуло много шпионов и провокаторов, подосланных сюда английскими агентами и русскими черносотенными генералами. Эти шпионы и провокаторы переодеваются рабочими, выдают себя за делегатов московских рабочих».¹¹ Другой пример: попытка организовать забастовки среди железнодорожников Петроградского узла в том же июле 1919 г. Такие забастовки возникали обычно вследствие мизерности

пайков, но в опубликованном в «Петроградской правде» воззвании Петросовета «Ко всем железнодорожникам Петроградского узла» виновниками стачки были названы «провокаторы и английские шпионы», которые «ссеют среди железнодорожников самые нелепые и чудовищные слухи». ¹² В напечатанной в этом же номере газеты передовой статье «Контрреволюция и железнодорожники» также говорилось о том, что рабочих подстрекают не работать «агенты англо-французского империализма». ¹³ Однотипность лексики в обращениях двух разных организаций может свидетельствовать о том, что писала их одна и та же рука. Такая общность приемов проявлялась, однако, и там, где агитаторами были, по-видимому, разные лица. На собрании рабочих 26-й государственной типографии 7 марта 1921 г. причины волнений в Петрограде были объяснены в докладе представителя РКП(б) так: «Агенты Антанты не спали, они наводнили все учреждения, фабрики и заводы агентами контрразведки». ¹⁴ Его поддержал и другой выступавший, заявивший о том, что «частично выступления были по приказу из Берлина и Гельсингфорса». ¹⁵ Впрочем, и это не было пределом импровизационных упражнений агитаторов. Накануне, 6 марта 1921 г., в докладе о «текущем моменте» на собрании рабочих древесной фабрики и лесопильного завода № 2 было сказано следующее: «Белогвардейцы всех мастей подстрекали рабочих Питера... Рабочие поняли, кто их смущал, когда были им представлены арестованные 250 человек и которые оказались все старые жандармы». ¹⁶

Для того чтобы рабочие почувствовали, что значит лично для них торжество таких провокаторов, английских шпионов и бывших жандармов, публицисты и ораторы не скучились на рассказы о зверствах белых и их приспешников. Чаще прочего к ним прибегали тогда, когда к Петрограду приближались войска Юденича, но не пренебрегали ими и в других ситуациях. И в публикациях весны 1921 г. можно встретить тот же сценарий предупреждения, который был характерен для статей весны и осени 1919 г. Типичный пример — статья Н. Гордона «Черно-желтое трио». ¹⁷ «Если бы власть в Питере захватили с. р. банды с Козловским — ей-ей, не пахло бы белыми булками». ¹⁸ Таков был зачин статьи. Для вящей убедительности своего тезиса публицист не только решил обосновать его рядом доводов, но и предварить его, — сказав то, что не рисковали открыто высказать сами рабочие. С невысказанным, с намеками, с молчанием было бороться трудно — что здесь опровергать? Надо было заставить заговорить скептиков громко, а не шепотом — и заставить их произнести то, что и следовало оспорить. Но как это сделать? Выход был найден. Если сомневающиеся безмолвствуют, надо дать им знать, что их тайные мысли известны: «Беспартийный рабочий иногда думает: “ну что же, я не коммунист, на собраниях я постоянно первый горлопан против большевиков, меня не тронут”». ¹⁹ И уж затем следуют аргументы, которые, впрочем, новыми не являлись: там, где хозяйничали меньшевики и эсеры (в данном случае автор говорит о Казани), «несколько сотен беспартийных рабочих, недовольных политикой социал-предателей и выражавших свой протест, были загнаны в один из дворов и расстреляны из пулеметов». ²⁰ Очевидные неувязки (поскольку трудно представить, как могли именно социалисты, а не, скажем, монархисты загнать в один двор несколько сотен человек и сплошь именно беспартийных рабочих, т. е. тех, кого и хотели напугать в этой статье, и расстрелять их из пулеметов) — не смущали автора публикации. Возможно, к этому привычны были и читатели, узнававшие о зверствах белых из советской печати (другой не было) еще и не такое. Вместо Казани мог быть указан и другой город и даже другая

страна — содержание таких агиток от этого не менялось, но побуждало лишь к большей изворотливости их составителей. В статье «Что сулит нам Кронштадт»²¹ продолжалась та же тактика запугивания — только на месте социалистов оказались восставшие матросы. Поскольку о «зверствах» мятежников ничего известно не было (хотя они и захватили целый город, где было много рабочих), то намекали, что эксцессы могли бы произойти в будущем. Но нужны были, для усиления пропагандистского эффекта, яркие картины «зверств» — а где их взять, если в Кронштадте никого не расстреливали. Выход также был найден. Автор сообщил, что в случае полной победы кронштадтцев они устроили бы такой же террор, как в Венгрии, — и тут же сосредоточился на подробном описании венгерских событий и только их, подробно рассказывая о различных эпизодах царившего там террора и извлекая оттуда требуемые яркие картины.

Тема утраченных возможностей и личных потерь, понесенных «трудящимися» вследствие деятельности «врагов народа», также не раз затрагивалась в выступлениях ораторов и публицистов. Внимание при этом обращалось прежде всего на то, что именно действия оппозиции привели к голоду и нищете — т. е. на то, что сильнее всего волновало горожан. О других неприятностях, причиненных ими, говорилось значительно меньше. «Мы надеемся получить хлеба и другие продукты не менее, чем [в] прошлый год, а больше, если бы нам эти золотопогонники не мешали», — делился своими надеждами с рабочими один из агитаторов на фабрично-заводском собрании в начале марта 1921 г.²² Другой оратор, используя факт экстренной раздачи обуви и одежды с конца февраля 1921 г. с целью успокоения рабочих, дает ему такую мотивировку: «Вы даже сами замечали за это время, как мы кончили на фронтах вооруженную борьбу, как сразу стали получать обувь, спец и прозодежду и даже белье».²³ При этом был обойден молчанием вопрос о том, почему как раз в то время, когда вновь вспыхнула вооруженная борьба (в Кронштадте), число раздаваемых предметов обихода вдруг ощутимо повысилось.

О белогвардейцах как виновниках разрухи говорилось и в статьях Э. Леонтьева («Причина всех причин»)²⁴ и Н. Кузьмина («Причины наших невзгод»).²⁵ Правда, целью этих, как и других публикаций о «причинах» экономического хаоса, была попытка снять обвинения с большевиков. Место «виновников», однако, не могло пустовать. Нельзя было отказаться от обвинений одной партии, не предъявляя их партии другой. Чем более рьяно искали этих виновников, тем оправданнее становились жесткие меры борьбы с ними, тем настойчивее отстаивалась идея диктатуры. Это отчетливо проявлялось в идеологических акциях, направленных против социалистов.

Для дискредитации социалистов отчасти воспользовались приемами шельмования кадетов в конце 1917 г. Антикадетские кампании в силу разных причин в дальнейшем не получили размаха. Обвинения партии народной свободы в том, что она состоит из «врагов народа»,²⁶ что она провоцирует «с самого начала революции гражданскую войну»²⁷ по безапелляционности и грубости во многом сходны с обвинениями, которые предъявлялись чуть позднее социалистам. Жесткость обличений эсеров и меньшевиков в значительной мере оправдывалась тем, что им приписывалось сотрудничество с кадетами и белогвардейцами. И тогда казалось естественным, что те ругательства и оскорбления, которым подвергались последние, могли применяться и к тем, кто еще недавно считался революционером. «Революционный Петроград не виноват, если та плеть, которая бьет буржуа, задевает и тех, которые крепко держат его в своих объятиях», —

такое выступление можно было услышать на беспартийной районной конференции еще в 1918 г., хотя тогда оно и вызвало шум в зале.²⁸ Спустя несколько лет уже известный нам Н. Кузьмин без всяких оговорок, как о нечто бесспорном, писал о том, что война была поднята белогвардейцами и поддержана «„нашими друзьями”... меньшевиками и эсерами».²⁹ В обращении Петросовета Петроградского губсовета профсоюзов и Петроградского губкома РКП (б) «К рабочим и работницам Красного Петрограда», опубликованном в это же время, прямо уже сообщалось о том, что меньшевики и эсеры — «верные друзья» белогвардейцев. Здесь же предлагалось «гнать в шею подпольных врагов — белогвардейцев, их наемных слуг меньшевиков и эсеров».³⁰ Новые краски формируемого советскими пропагандистами образа эсеров и меньшевиков можно обнаружить в передовой «Петроградской правде», опубликованной в октябре 1921 г., когда тон печати мог стать более спокойным: «Ничтожные группы заговорщиков, финансируемые европейским капиталом».³¹

Можно еще долго говорить о всех перипетиях многочисленных кампаний по развенчанию социалистов, проводимых в 1918—начале 1920-х гг. Бесконечные рассказы об устройстве ими взрывов поездов и поджогах электростанций и заводов, о расстрелях рабочих и т. п. должны были привести читателя или слушателя к мысли о необходимости сильной власти, способной защитить «трудящихся» от их псевдодрузей. Эту мысль стремились подтвердить ссылками на мнения рабочих, в том числе побывавших на суде над эсерами в 1922 г. Разумеется, их отклики тщательно редактировались и в определенной степени должны были служить и идеологическим подспорьем для судей. Они интересны скорее тем, что показывают, как руками рабочих дискредитация социалистической оппозиции увязывалась с тезисом о значимости той системы, где не будет никаких партий, кроме коммунистической. Так, в переданном «Красной газетой» отчете присутствовавшего на суде рабочего нефтяных складов Нинова подчеркивалось: «Хотя вы и говорите, что суд неправильный — государственные обвинители коммунисты, так оно и должно быть, так как мы, беспартийные, больше никому не доверяем, как им, а не тем, которые продавали самих себя и тех, которые за ними шли».³² Примечательна и опубликованная в мае 1922 г. в «Петроградской правде» статья о собрании на Металлическом заводе. Здесь процитировано выступление беспартийного рабочего Тюльпина, так откликнувшегося на реплику о том, что суд — лишь эпизод в борьбе партий за власть: «Рабочие не могут оставаться в стороне при борьбе партий. Партии борются за рабочих или против рабочих».³³

Своеобразной концовкой этих агитационных импровизаций может служить более позднее (относящееся к 1923 г.) объяснение причин репрессий против социалистов на одном из собраний коммунистов «Нового Лесснера»: «Обвиняют нас и в узурпаторстве: РКП загнала в подполье все другие партии, но ведь это делается в пользу трудящихся, т. к. ... эти беспокойные люди все время бы спорили и науськивали массы».³⁴ Слова «обвиняют», «загнала в подполье» сформулированы нарочито утрированно и хлестко, видимо, для того, чтобы легче их можно было опровергнуть. Совершив первую часть этой агитационной операции, выступавший, однако, не продолжил ее как полагалось — не задал вопрос «Так ли это?» или просто не назвал данное утверждение ложью. Он признал факт запрета партий — и получалось, что он соглашался и с тем, что их «загнали в подполье», а не с тем, например, что они «сами разоблачили себя», что «их отвергли массы» и т. д. Такие не очень умелые ходы или, вернее, ходы, не доведенные до

конца, были характерны именно для импровизаций. В пространных статьях, в воззваниях, в многословных листовках столь неожиданных обрывов и промахов в риторических упражнениях было меньше и следили за логичностью, хотя порой и внешней, причинно-следственной цепочки.

Один из элементов оправдания диктатуры в агитационных импровизациях — разъяснение вопроса о «свободе слова и печати». Первой, в своем роде «пробной» импровизацией можно счесть дискуссии на заседании Петроградского военно-революционного комитета (ПВРК) 6 ноября 1917 г. На нем присутствовала делегация печатников, протестовавшая против Декрета СНК о печати, грозившего репрессиями тем, кто сеял в прессе «клевету». Первым ответил печатникам А. Иоффе, заявивший, что «свобода печати не воспрещена, а ограничена... монополия печати должна принадлежать тому классу, который является выразителем настроения масс... буржуазные типографии конфискованы для того, чтобы справедливо распределить предмет производства».³⁵

Иоффе не оправдывается, а нападает. Мотивация его не столь формальна и казуистична, как может показаться на первый взгляд. Нападки на монополии, «антибуржуйские» выпады, требования справедливого распределения средств производства — это все язык 1917 г. Это язык не одного Иоффе, но даже и тех «буржуазных слоев», которые обижались после Февраля 1917 г., когда их называли «буржуями». Весьма риторичные и фальшивые для позднейших десятилетий, в 1917 г. данные тезисы вполне могли казаться тем, что должно было примирить печатников с Декретом СНК.

Этого не случилось, но примечательно, что, отвечая Иоффе, один из печатников словно не слышит его аргументов. Возможно, возразить против них было трудно, но и соглашаться с Декретом СНК печатники не могли, хотя бы потому, что это грозило снижением их заработка. В выступлениях представителя делегации внимание было обращено на другое: «...большевики насильно заставляют население читать газеты определенного направления, что не в этом социализм, что большевики законом о печати срывают Учредительное собрание, что, закрывая печать, Военно-революционный комитет должен был в первую очередь обратиться к представителям Союза печатников, выработать совместно с ними меры борьбы с буржуазной печатью, что если мы сильны, буржуазная печать не может быть страшна».³⁶

Печатники говорят на том же «революционном» языке, правда, также подбирая доводы, которые им более выгодны. Оспорить Иоффе с помощью этого языка было трудно, но и позиции печатников, защищенные броней риторики, казались в данном случае менее уязвимыми. Разговор в основном и пошел дальше при обращении к привычным идеологемам. Вопрос был лишь в том, кто сможет лучше ими воспользоваться и быстрее сделать выигрышный ход. Печатники имели перед собой сразу пять «игроков» — Иоффе, Свердлова, Дзержинского, Скрыпника и Лашевича — каждый из которых по-своему жонглировал аргументами, почерпнутыми из «революционной» идеологии, хотя и преследовал одну цель.

Свердлов, возражая делегации, отмечал, что декрет «не является доказательством... боязни» и заявил, что его задача — «укрепить революционный порядок без лишних жертв, возможных в том случае, если дадим буржуазии возможность продолжать по-громную агитацию путем печати».³⁷ Дзержинский употребил другой прием, впрочем, тоже не новый в арсенале «пролетарской» мифологии. Он ссылался на «пролетарскую классовую дисциплину» и допытывался, «считают ли печатники себя частью всей

семьи пролетариата». ³⁸ Ему подыгрывал Скрыпник, спрашивая о том, «учитывает ли профессиональный союз печатников общее настроение всех профессиональных союзов [ов]». ³⁹ Дискуссию закончил Лашевич. Подхватив мысль Дзержинского о том, что это такой серьезный вопрос, который грозит гражданской войной, он прямо заявил о том, что «печатники собираются объявить гражданскую войну» Петроградскому совету.

Могли ли печатники возражать против того, чтобы не было жертв? Едва ли. Кроме того они и сами в недавнем прошлом не препятствовали разгрому «монархической» прессы. Иоффе лишь призывал их быть последовательными, заметив, что, «когда победила первая, буржуазная революция, печатники нашли нормальным закрытие черносотенных газет». ⁴⁰ И семьей пролетариата печатники себя считали, и гражданскую войну не хотели развязывать, и не могли они не согласиться с тем, что «общее настроение» профсоюзов было пробольшевистским.

Вступив в борьбу со своими оппонентами на общем поле социалистической доктрины, печатники, очевидно, проиграли ее. Что же им остается? Остается молчать и отстаивать свою позицию, уже ничем ее не мотивируя: «Представитель делегации говорит о том, что для него ясно, что общего языка с Военно-революционным комитетом не найдет, а потому предлагает ограничиться именно формальным ответом»⁴¹. Их противники оказались более умелыми в идеологической казуистике. Эта казуистика в дальнейшем узаконивалась полемическими упражнениями, делавшими их победителей гораздо смелее и увереннее в своей правоте. Это еще не полная победа ПВРК, но «обезоруживание» достигнуто, а далее оправданными становятся и репрессивные меры и оказываются более эффективными приемы дискредитации.

Еще одним примером такой идеологической игры, правда, менее подробно отраженной в документе, можно счесть дискуссию о «свободе печати» на заседании Президиума Петроградского губкома Всероссийского Союза рабочих металлистов (ПГК ВСРМ) совместно с представителями завода «Арсенал» 16 февраля 1921 г. Рассматривался помещенный в резолюции собрания арсенальцев следующий пункт: «Свободы слова и печати». Ход дискуссии на этом заседании в протоколе не отображен, но дополнительные пояснения, сделанные здесь арсенальцами, весьма примечательны: «Требуя свободу печати, мы не хотим этим сказать, что мы желаем, чтобы вновь выходили буржуазные газеты, которые рабочему классу совершенно не нужны, а чтобы в наших рабочих газетах была шире предоставлена возможность обличать разного рода безобразия». ⁴²

Нельзя исключать, что такие пояснения были итогом разговора, в котором арсенальцы оправдывали свою позицию аргументами, приемлемыми для их собеседников. К таким оправданиям и к одобрению такого порядка вещей они, может быть, и были готовы. Отметим, что в том пункте резолюции «Арсенала», где требовали свободы печати, содержалась «лояльная» оговорка о том, что она нужна для борьбы с недостатками. Но это еще не значило, что арсенальцы были готовы произносить речи, которые повторяли софистические доводы, сформулированные уже в конце 1917 г. опытными партийными публицистами. Скорее их принудили к этому такими же приемами, какими заставили замолчать в 1917 г. делегацию печатников. Добившись необходимого им признания того, что «буржуазные» газеты вредны, члены Президиума ПГК ВСРМ перешли, опираясь на него, в наступление, приведя еще ряд эффектных и внешне логичных аргументов, чтобы достичь полного успеха. Доводы были следующими: 1) рабочим никто

не мешал обращаться в газеты, но они сами не хотели это делать; 2) для того чтобы рабочие могли выразить свои нужды, было предложено опубликовать их письма в профсоюзной газете «Маховик». Чтобы они не сомневались в том, дойдут ли их жалобы до адресата, предлагалось на каждом предприятии соорудить «специальный ящик» для них и снабдить его замком, ключ от которого должен был храниться в Союзе рабочих-металлистов. Против мер, предложенных ВСРМ, трудно было возражать и с ними легко было согласиться — ход выглядел явно выигрышно. Не говорилось, правда, о том, все ли было бы позволено печатать рабочим в советской газете, если бы они прежде обратились к ней, и не было ручательств, что все, помещенное в «специальных ящиках», будет опубликовано. Легкой победы дискуссии по таким вопросам не сулили, и потому их не замечали, не делали никаких оговорок, не допускали никаких оправданий. Простые, ясные меры, простой, ясный, понятный всем их эффект — зачем еще что-то комментировать?

Было ли в аргументах, прозвучавших на этом заседании Президиума ПГК ВСРМ, что-то новое? Отождествление свободной печати с буржуазной печатью новым точно не являлось. Мы встречались с этим уже в полемике ПВРК и печатников в 1917 г. Два года спустя этот же тезис, только в обрамлении уже более жестких безапелляционных утверждений, развил в своем выступлении на Первой конференции культпросветработников ее почетный председатель Гринберг: «Мы определенно против свободы печати для буржуазии, для той кучки, которая, нажив на эксплуатации рабоче-крестьянского класса миллиарды, печатала вредные для рабочего класса книги и газеты».⁴³ Когда на собрании завода «Дека» 5 апреля 1921 г. организатор коллектива РКП (б) заявил, что «свобода слова и печати для рабочих есть, а буржуазии мы не дадим»⁴⁴ то он лишь следовал уже закрепившейся традиции — закрепившейся, видимо, настолькоочноочно, что счел естественным вообще отказаться от мотивации своего призыва.

Вред, наносимый буржуазной печатью обществу во все времена, и недопустимость ее существования в настоящий момент ввиду опасного положения республики — вот две доминанты аргументации, которой объясняли запрет независимой прессы. Дополнительным доводом стала ссылка на опыт работы «буржуазных» газет в капиталистических странах — для выявления их классовой сущности. Некоторые из этих аргументов прозвучали в импровизированных выступлениях на городских предприятиях почти в то же время, когда члены Президиума ПГК ВСРМ встречались с различными делегациями от заводов. На собрании завода «Новый Лесснер» один из выступавших, отвергая «свободу печати», «указал положение о свободе слова и действий с начала революции в России и в настоящее время в других странах, где управляют меньшевики и эсеры».⁴⁵ Речь его, правда, сумбурно и фрагментарно передана протоколистом, и в ней чувствуется обрыв логической цепочки: «Большевики приняли страну разоренной, все рудники России по добыче угля разорены белыми и то, что говорят, что у нас нет свободы, то это неправда».⁴⁶ Почему это неправда, он не сказал, но его намек на «демократические» государства импровизацией являлся лишь отчасти. О кризисе на Западе часто писалось тогда в прессе. Тем самым опровергались слухи о том, будто экономический хаос царил только в России — вследствие политики коммунистов. Выступление на «Новом Лесснере» показывает, что эта практика не исчерпывалась сравнением разных кризисов: недовольным зажимом прессы в Советской России можно было указать и на то, что делают с прессой за ее границами. Об этом, впрочем, говорили тогда не только

на собраниях. О гонениях на печать в веймарской Германии сообщалось, например, в статье В. Быстрянского «Свобода печати в “чистой демократии”», опубликованной «Петроградской правдой».⁴⁷

Как правило, закрытие «буржуазной» прессы объяснялось прагматическими соображениями; в 1917 г. даже обещали, что все ограничения свободы печати будут сняты, едва восстановится «революционный порядок». О запрещении «буржуазных» газет как акте социальной мести рискнул сказать только знакомый нам агитатор, разъяснявший в декабре 1920 г. «Азбуку коммунизма». К вопросу о том, «почему мы боролись всегда за свободу, а сами закрыли все газеты, кроме коммунистических», он, видимо, не очень был готов и потому из всей череды данных им импровизированных ответов этот был одним из худших, не очень мотивированный, не очень логичный и не очень убедительный: «Да, рабочий класс, как враг капиталистов, боролся за свободу печати, но он получал всегда отказ и рабочие газеты закрывались. Теперь после победы над капиталистами предоставляется право вести борьбу за свободу печати капиталистам».⁴⁸ Но даже и в этих, казалось, «доморощенных» упражнениях видно то же сближение непартийной печати исключительно с печатью «буржуазной», какое наблюдалось и в других агитационных выступлениях.

Подведем итоги. Агитационные импровизации возникали в рамках канонических трактовок «диктатуры пролетариата», но к ним примешивалось многое, почертнутое оратором из своего «житейского опыта». Это делало порой их более понятными для слушателей. Платой за это была их фрагментарность, утрата в ряде случаев логической связи и незаконченность аргументации. В импровизациях нет четкого соблюдения всей канвы той «доказательной» цепочки профессиональных пропагандистов, которая, по тогдашней традиции, кончалась безальтернативным и потому казавшимся «научным» выводом. Акцент мог быть сделан на каком-то одном сюжете, более знакомом агитатору. Отмечая лишь один из аспектов вопроса, он и мог сосредоточиться только на нем, игнорируя другие доводы. В том, как он отстаивал свою позицию, нет четкой систематичности и последовательности, нет той внутренней дисциплины, которая позволяет, несмотря на неожиданность вопроса, сохранить устойчивость диалога. Есть быстрота ответа, скрывающая его бесхитростный формализм, есть апелляция к клише, привычным и не вызывающим протеста, позволяющим именно привычностью перепрыгнуть через ряд звеньев в цепочке трактовок «за и против». Есть, наконец, и обращение к чувствам аудитории, простым и основанным на «житейских» правилах. «Прокладывай дорогу к разуму человека через его сердце. Дорога, ведущая непосредственно к разуму, сама по себе хороша, но, как правило, она несколько длиннее и, пожалуй, не столь надежна» — едва ли импровизаторы знали об этом правиле Честерфилда, но в своих поступках нередко следовали именно ему.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (далее — ЦГАИПД СПб). Ф. 2. Оп. 1. Д. 142. Л. 12. Здесь и далее при цитировании документа сохранены его стиль и синтаксис.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Протокол общего собрания завода им. Коницкого 1 августа 1923 г.: Центральный госу-

дарственный архив Санкт-Петербурга (далее — ЦГА СПб). Ф. 4591. Оп. 7. Д. 12. Л. 381.

⁷ Протокол общего собрания завода «Русский Дизель» 27 октября 1921 г. (Там же. Оп. 5. Д. 12. Л. 203).

⁸ Предложенный после этого выступления на собрании «Русского Дизеля» 27 октября 1921 г. подготовленный ПК РКП(б) наказ для выборов в Петросовет был принят единогласно и без поправок, а депутатом от рабочих стал представитель коллектива РКП (б) (Там же. Оп. 5. Д. 12. Л. 203).

⁹ ЦГАИПД СПб. Ф. 2106. Оп. 1. Д. 145. Л. 98 об.

¹⁰ Первая конференция рабочих и краснозармейских депутатов 1-го Городского района (стенографические отчеты 25 мая—5 июня). Пг., 1918. С. 265—266.

¹¹ Обращение Комитета обороны «Ко всем рабочим и работникам Петрограда и окрестностей» // Петроградская правда. 1919. 10 июля.

¹² Там же. 21 июля.

¹³ Там же.

¹⁴ ЦГА СПб. Ф. 4804. Оп. 5. Д. 77. Л. 60.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 175. Л. 64.

¹⁷ Петроградская правда. 1921. 12 марта.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же.

²¹ Там же. 8 мая.

²² Протокол общего собрания 2-й государственной фабрики производства одежды 30 марта 1921 г.: ЦГА СПб. Ф. 600. Оп. 5. Д. 5. Л. 16.

²³ Протокол общего собрания древесной фабрики и лесопильного завода № 2 6 марта 1921 г. (Там же. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 175. Л. 64).

²⁴ Красная газета. 1921. 6 марта.

²⁵ Там же. 12 февр.

²⁶ Известия. 1917. 6 дек.

²⁷ Там же. 14 дек.

²⁸ Первая конференция рабочих и краснозармейских депутатов 1-го Городского района. С. 72.

²⁹ Красная газета. 1921. 18 февр.

³⁰ Петроградская правда. 1921. 25 февр.

³¹ Там же. 28 окт.

³² Красная газета. 1922. 4 июля.

³³ Петроградская правда. 1922. 23 мая.

³⁴ Протокол общего собрания членов РКП (б) завода «Новый Лесснер» 29 мая 1923 г. (ЦГАИПД СПб. Ф. 376. Оп. 1. Д. 4 а. Л. 23).

³⁵ Петроградский Военно-революционный комитет: Документы и материалы. М., 1966. Т. 2. С. 144.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же.

³⁸ Там же.

³⁹ Там же. С. 145.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Там же.

⁴² ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 6. Д. 6. Л. 6—8 об.

⁴³ Протокол Первой конференции культпросветработников Петроградской губернии. Сентябрь 1919 г. (Там же. Ф. 6276. Оп. 4. Д. 140. Л. 6).

⁴⁴ Там же. Ф. 4591. Оп. 5. Д. 14. Л. 52.

⁴⁵ Там же. Д. 12. Л. 168 об.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Петроградская правда. 1921. 28 апр.

⁴⁸ ЦГАИПД СПб. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1426. Л. 12.

IV. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

B. C. Парсамов

Ф. В. РОСТОПЧИН И ИДЕОЛОГЕМА «НАРОДНАЯ ВОЙНА»¹

Вопрос о том, имела ли Отечественная война 1812 г. народный характер или нет, в настоящей статье обсуждаться не будет. В такой постановке он вряд ли вообще имеет решение, так как само понятие «народная война» принадлежит к языку описания и не может быть выведено из имеющихся в распоряжении исследователя фактов без их предварительного отбора. В данном случае нас будут интересовать *идеологические* истоки историографического представления о войне 1812 г. как войне народной. Речь пойдет об одном из таких идеологов — московском генерал-губернаторе Ф. В. Ростопчине. Ростопчин — фигура сложная, сочетающая в себе безапелляционность и резкость суждений с отсутствием в них постоянства. Вместе с тем театральность принимаемых им поз, страсть к переодеваниям как в буквальном, так и в переносном смысле, нарочитая идеологизация собственных поступков делает его благодатным материалом для культурологического анализа.

«Народная война» идеологически не только фиксировала участие народа в борьбе с внешним врагом, но и могла интерпретироваться как война национально-культурная, доказывающая превосходство одной культуры над другой. Людьми типа Ростопчина, воспитанными на французской культуре, думающими и говорящими по-французски едва не лучше, чем на родном языке, Французская революция была воспринята не только как страшное социальное бедствие, постигшее Францию и всю Европу, но как глобальная культурная катастрофа, вызвавшая серьезные мировоззренческие изменения. Связь с французской культурой XVIII в. в силу ее универсального характера для образованного слоя европейцев, будь то немец, итальянец, англичанин или русский, означала принадлежность к некоему общечеловеческому наднациональному пространству, в котором идеи космополитизма преобладали над идеями национальными. Поэтому катастрофа, вызванная Французской революцией, ощущалась ими как разрушение этого пространства, следствием чего стала смена идей универсализма идеями партикуляризма. В этом смысле и национализм Ростопчина, и католицизм его жены Екатерины Петровны, урожденной Протасовой, были различными проявлениями общего культурного процесса.

Для идеологов национально-патриотического толка война с французами являлась составной частью и своего рода кульминацией в развитии их галлофобских идей. Участие народа в этой войне безусловно служило важным аргументом в их народническо-шовинистической пропаганде, но в то же время их консервативно-монархические взгляды накладывали определенные ограничения на понимание народного характера войны.

В манифестах А. С. Шишкова народ неизменно упоминается на последнем месте как низшее, а следовательно, последнее по значению сословие, принимающее участие в войне. С. Н. Глинка прямо писал: «Войну 1812 года нельзя в полном смысле называть *войною народною*. (И слава Богу!) Война народная за Россию была у предков наших в *трехлетнее междуцарствие*, когда по словам грамот и летописцев того времени: *престол вдовствовал*. Но в наш *двенадцатый* год, Россия, под щитом Провидения, восстала за Отечество в полноте жизни своей; в недрах ея действовали: *Царь, войско и народ*; действовали нераздельно мыслию, душою и мышцею».²

Таким образом, с одной стороны, народ является тем здоровым началом, которое сохраняет основы национальной культуры, а с другой стороны, он лишь вспомогательное средство в вооруженной борьбе, которую ведет русский царь с иноземной скверной.

Важно еще раз подчеркнуть, что подобного рода русофильские идеи зарождались именно в среде европейски образованного дворянства, которое при всей своей любви к национальной культуре и народному языку практически не было с ними связано, а поносимая ими европейская (французская) культура была хорошо знакома им с детства. Их восприятие народа, как и понятие народной войны, имело характер идеологического конструкта, рассчитанного в первую очередь на европейскую или европеизированную аудиторию. Не случайно, что наиболее полную и развернутую трактовку народной войны в 1812 г. встречаем в письме немца Г.-Ф. Фабера к француженке мадам де Сталь.³

Особенность позиции Ростопчина заключалась в том, что он, не ограничиваясь обсуждением роли народа в 1812 г. в своей культурной среде, пытался говорить с самим народом на народном языке. По воспоминаниям Д. П. Рунича, «тотчас после назначения и по приезде в Москву Ростопчин стал разыгрывать из себя друга народа. <...> Полиция распространяла каждое утро по городу бюллетени, печатаемые по его приказанию и написанные площадным языком. <...> Занимая, с одной стороны, этими глупыми шутками праздношатающихся, он вселял, с другой стороны, ужас, проявляя свою власть такими жестокими мерами, которые заставляли всех трепетать».⁴

То, что дворянство в основном смеялось над ростопчинскими афишами,⁵ неудивительно. Они были рассчитаны отнюдь не на образованное меньшинство московского общества. О том же, как их воспринимали те, кому они были адресованы, — грамотная часть городских низов — судить трудно ввиду отсутствия прямых источников. Для самого же Ростопчина сочинение афиш было отнюдь не второстепенным делом. Он стремился таким образом вступить в прямой диалог с народом и придавал этому весьма серьезное значение. П. А. Вяземский, вспоминая, как Ростопчин отказался от предложения проживающего в его доме Н. М. Карамзина писать эти афиши вместо него, объяснял это авторским самолюбием московского генерал-губернатора.⁶ Однако дело было не только в этом. По замыслу Ростопчина, автором мог быть только человек, облеченный верховной властью в Москве. Важна была не столько содержащаяся в этих афишах информация, сколько сам факт диалога народа с властью. Как вспоминала дочь Ростопчина Наталья Нарышкина, «в отличие от предшествующих ему старых губернаторов Москвы, которые обращались к крестьянам и ремесленникам только в приказном тоне, мой отец хотел, чтобы все были в курсе происходящих событий, с этой целью он публиковал маленькие письма (*petites lettres*) или дружеские объявления (*annonces amicales*), написанные простым и непринужденным (*badin*) стилем, который мог быть понятным и соответствовать вкусам простой (*humble*) аудитории».⁷

Не углубляясь в вопрос о том, насколько удачно Ростопчин решал проблему народного языка, следует отметить, что в данном случае не было традиции, на которую он мог бы опереться. Шишковские манифесты с их славянизмами и библеизмами были не просто далеки от реального народного языка, но и практически непонятны народу. Ростопчин, по воспоминаниям Нарышкиной, «думал, что прокламации Шишкова были слишком длинны и слишком высокопарны».⁸ В отличие от Шишкова, который стремился к закреплению языка своих манифестов в качестве нормативного языка империи,⁹ Ростопчин подходил к этой проблеме функционально. Он действительно полагал, что народ говорит именно таким языком, каким написаны афиши, и рассчитывал, обращаясь к народу на «его» языке, манипулировать народным настроением. Нормативность Ростопчина проявлялась не в языке, а в том образе народа, который конструировался содержательными средствами.

В своих многочисленных обращениях к жителям Москвы он стремился представить народ как организованную и патриотически настроенную силу, в первую очередь послушную начальству: «Должно иметь послушание, усердие и веру к словам начальников, и они рады с вами и жить и умереть». Страх перед реальным народом отнюдь не мешал Ростопчину конструировать идеологему народа как природную неиспорченную иностранным воспитанием силу, хранящую в себе древние традиции. «Очень радуюсь, — писал он А. Д. Балашеву 4 августа 1812 г., — что правила мартинистов не поселиены еще в головы народа».¹⁰

Масонов, и особенно уже опального Сперанского, Ростопчин старался представить в глазах властей как внутренних врагов государства, плетущих свои заговоры за спиной государя. Не имея отношения к реальности, это убеждение было неотъемлемой частью патриотической позиции, артикулируемой Ростопчиным. Идеологизированное народолюбие предполагает наличие врага народа, от которого народ должно защищать. Собственно говоря, защита народа от внутреннего и внешнего врага есть форма выражения любви к нему. Поэтому образ врага часто конструируется параллельно с образом народа как его антипода. При этом враг коварен и для погибели народа может одевать на себя маску его друга. И только истинный патриот умеет отличать подлинных и мнимых друзей народа. Так, например, Ростопчин рассказывает в своих записках о том, как им был разоблачен коварный замысел трех московских сенаторов-масонов И. В. Лопухина, П. В. Рунича и П. И. Кутузова, которые «намеревались уговорить своих товарищей не покидать Москвы, окрашивая такой поступок в чувство долга и самопожертвование для отечества, по примеру римских сенаторов во время вступления галлов в Рим. Но намерение их состояло в том, чтобы, оставшись, играть роль при Наполеоне, который воспользовался бы ими для своих целей».¹¹ Наиболее «эффективной» формой борьбы с таким «врагом», как правило, являются доносы правительству и распространение слухов о якобы готовящихся заговорах. Письма Ростопчина Александру I буквально пестрят постоянными жалобами и предупреждениями относительно опасности уже сосланного Сперанского и московских масонов для государства и народа. Сам же он делает все от него зависящее (арrestы, допросы, ссылки), для того чтобы врагам народа не удалось овладеть народным сознанием.

Государственная идея, по мнению Ростопчина, должна питаться не зыбкими европейскими истоками, а основываться на прочном народном фундаменте. Поэтому не европеизированное дворянство, а русский народ, контролируемый со стороны власти,

в союзе с императором способен одержать победу над внешним врагом. Все время Ростопчин всячески старался преуменьшить роль дворянства в победе над Наполеоном за счет царя и народа. Нарышкина явно со слов отца писала: «Александр и его народ исполнили свою благородную миссию, но дворянство проявило себя не на уровне задачи, поставленной перед ним Пророком. Только оно имело бесстыдство, руководствуясь ничтожными личными интересами, чернить и клеймить тот пылкий патриотизм, который подготовил московским пожаром гибель французской армии».¹² Но главную роль спасителя Отчества Ростопчин отводил себе. В письме к царю от 2 декабря 1812 г. он прямо писал: «я <...> спас Империю».¹³ Было ли это дерзкое бахвальство, эпатирующее двор, или же за этим стояли пусть субъективные, но в то же время вполне искренние представления о характере войны 1812 г. и о своей роли в ней?

Думается, что Ростопчин в данном случае вполне искренен. Он был третий по масштабу власти человек в стране во время боевых действий после царя и главнокомандующего М. И. Кутузова. Д. П. Рунич даже уравнивает его по полномочиям с Кутузовым: «Он был переименован из отставного действительного тайного советника в генерала-от-инфантерии, назначен московским генерал-губернатором и облечён такою же властью, какую имел главнокомандующий действующей армии».¹⁴

Вся роль Александра I в 1812 г. свелась по сути дела к тому, что он упорно не желал заключать мир с Наполеоном, и в этом Ростопчин вполне мог считать себя одним из тех, кто, если и не оказал прямого влияния на царя, то всяком случае послужил ему опорой. «О мире ни слова, — писал он царю через две недели после оставления Москвы, — то было бы смертным приговором для нас и для вас».¹⁵

Особую роль в формировании идеологемы «народная война» сыграло назначение М. И. Кутузова главнокомандующим, последовавшее 8 августа 1812 г. По воспоминаниям Н. Н. Муравьева-Карского, «известие сие всех порадовало не меньше выигранного сражения. Радость изображалась на лицах всех и каждого».¹⁶ Даже Ростопчин, еще не ведая, как сильно изменится его мнение о Кутузове, 13 августа 1812 г. писал А. Д. Балашеву: «Все состояния обрадованы поручением князю Кутузову главного начальства над всеми войсками, и единое желание, чтоб он скорее принял оное на месте».¹⁷

Кутузов, видимо, с самого начала понимал, что не только армия решит исход войны, которая после Смоленска все больше приобретала народный характер. Следовательно, участие армии в боевых действиях по мере продвижения противника вглубь страны становилось все менее необходимым. В 1812 г. Кутузов дал гораздо меньше сражений, чем мог бы и чем от него ждали. Между ним и русским народом установилось какое-то особое взаимопонимание, позволившее ему фактически разделить тяжесть войны между армией и народом.

Разумеется, народный характер войны понимал не только Кутузов. Но Кутузов видел в нем особую прагматику. Для официальной пропаганды народ в войне занимал последнее место, что в общем-то было не так уж и мало, если учесть, что во всех предшествующих со временем Смуты войнах народ вообще не участвовал. Шишков в своих манифестах давал четкую иерархию степеней участия всех сословий в войне: «Войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все государственные чины и состояния, не щадя ни имущества своих, ни жизни, составили единую душу вместе мужественную и благочестивую, толико же пылающую любовию к отечеству, колико любовию к Богу».¹⁸ Итак, войска на первом месте, народ на последнем.

Кутузов практически перевернул эту иерархию ценностей и на деле, а не на словах превратил народ в активно действующую боевую силу, стараясь по возможности прятать за его плечами армию. Такая позиция выглядела парадоксально: не армия защищает народ, а, наоборот, народ спасает армию, которую Кутузов всячески старается вывести из-под удара противника.¹⁹

Одновременно идею народной войны он превращает в некий жупел для французов. 23 сентября Кутузов принял приехавшего к нему в качестве парламентера генерала А.-Ж. Лористона, уполномоченного вести переговоры о перемирии. Миссия Лористона на успеха не имела, и вскоре после его отъезда из походной типографии Кутузова вышла листовка, излагающая суть переговоров: «Лористон жаловался на жестокость, которую проявляют крестьяне к французам, гибнущим от их рук. Кутузов отвечал с иронией: “Возможно ли в течение трех месяцев цивилизовать народ, на который сами французы смотрят не иначе, как если бы это были орды Чингиз-хана”». И далее: «Эта война становится *народной* (курсив мой. — В. П.) и принимает характер, подобный борьбе в Испании. Русские крестьяне, вооруженные пиками, окружают со всех сторон французов, которые производят грабежи и оскверняют церкви». Народную войну Кутузов старается представить не только как жестокую и варварскую, но и как акт огромного самопожертвования, наивысшим проявлением которого стал московский пожар. На заверения Лористона, «что французы не поджигали Москву <...> Кутузов возразил: “Я хорошо знаю, что это сделали русские; проникнутые любовью к родине и готовые ради нее на самопожертвования, они гибли в горящем городе”».²⁰ Эту же мысль Кутузов чуть позже выразил в письме к маршалу А. Бертье: «Трудно остановить народ, который в продолжение двухсот лет не видел войн на своей земле, народ, готовый жертвовать собою для родины и который не делает различий между тем, что принято в войнах обыкновенных».²¹ В народной войне Кутузов видел не просто пропагандистский конструкт, но и реальную самостоятельную силу, способную победить Наполеона.

Ростопчина такая позиция совершенно не устраивала. На Кутузова московский генерал-губернатор смотрел как на человека, способного своим бездействием спровоцировать народные мятежи. В вопросе о том, должна ли армия спасти Москву или же Москва должны быть принесена в жертву во имя спасения армии, Ростопчин занимал позицию, противоположную Кутузову. Исходя из здравого смысла, московский генерал-губернатор писал главнокомандующему: «Армии собраны и выведены были для защищения пределов наших, потом должны были защищать Смоленск, и теперь спасти Москву, Россию и Государя». Москву Ростопчин рассматривал не просто как русскую столицу, воплощающую в себе национальную сущность, но и как организующее начало народной жизни. Пока она не сдана неприятелю, «народ русский есть самый благонамеренный». Но как только «древняя столица сделается местом пребывания сильного, хитрого и счастливого неприятеля», прекратятся не только «все сношения с северным и полуденным краем России», но и разрушится само народное тело, и тогда уже за народ «никто не может отвечать».²²

Ростопчин избегает слова «бунт», но оно явно подразумевается, как и то, что ответственность за народные волнения, вызванные потерей Москвы, полностью ляжет на главнокомандующего русской армией. Шантажируя таким образом Кутузова, Ростопчин не переставал всячески чернить его в глазах царя и общественного мнения. В своих письмах того периода к Александру I он называет Кутузова «старой бабой-сплетницей»,

пишет, что он «потерял голову и думает что-нибудь сделать, ничего не делая»²³ В письме к П. А. Толстому Кутузов представлен как «самый гнусный эгоист, пришедший от лет и разврата жизни почти в ребячество, спит, ничего не делает». И далее: «Я опасаюсь, чтобы терпение народа не уступило место отчаянию, и тогда Россия погибнет неизбежно».²⁴

Последствиями «бездейственности» Кутузова как главнокомандующего Ростопчин пытался представить дезорганизованность регулярной армии и возможность народного мятежа. «Солдаты уже не составляют армии, — писал Ростопчин царю 8 сентября 1812 г., — Это орда разбойников, и они грабят на глазах своего начальства»²⁵ В своих письмах-донесениях царю и другим корреспондентам он фиксирует случаи мародерства и неподчинения солдат: «В имении Мамонова явились мародеры для грабежа. Их прогнали, и два мужика начали взывать к мятежу», «во время службы человек 20 солдат пришли грабить церковь. Если наши крестьяне начнут драться с нашими солдатами (а я этого жду), тогда мы накануне мятежа». Все это делается с попустительства Кутузова, которого «никто не видит; он все лежит и много спит. Солдата презирает и ненавидит его». Поэтому Ростопчин предлагает царю «отозвать и наказать этого старого болвана и царедворца».²⁶

Нападая на Кутузова, Ростопчин тем не менее не сомневается в том, что «неприятель должен здесь погибнуть», но при этом добавляет «не Кутузов выроет ему могилу».²⁷ Разлагающейся армии Ростопчин противопоставляет народ, который «есть образец терпения, храбрости и доброты»²⁸ но главное то, что этот народ послужен начальству и в первую очередь самому Ростопчину.

Кутузов же стремился представить народную войну прежде всего в глазах неприятеля, как реальность, изначально не предусмотренную командованием, не нуждающуюся в командовании и не зависящую от командования. Она спровоцирована самим неприятелем и закончится лишь тогда, когда тот покинет пределы России. Это война, ведущаяся не по правилам военного искусства и сопровождающаяся особой жестокостью. Вооружившись против Наполеона, русский народ реализует присущее народу вообще право на вооруженное восстание в случае, если его права попраны.

Не будучи посвященным в стратегический замысел Кутузова, Ростопчин эту пропагандистскую модель принял за чистую монету и всячески старался ей противодействовать. А. Г. Тартаковский в свое время обратил внимание на то, что Ростопчин самовольно изменил в приказе Кутузова от 19 октября по случаю оставления французами Москвы фразу о народной войне. Вместо слов о том, что Наполеону «не предстоит ничего другого, как продолжение ужасной народной (курсив мой. — В. П.) войны, способной в краткое время уничтожить всю его армию», Ростопчин поставил «ужасной неудачной войны».²⁹ Лишнее упоминание народной войны на фоне «бездействующей» армии казалось Ростопчину опасным.

Участие народа в войне Ростопчин представлял себе иначе. До приближения неприятеля к Москве главную свою задачу он видел в сохранении спокойствия в столице: «Прокламации, мною публикованные, имели единственно в предмете утишение беспокойства»³⁰ Особое беспокойство генерал-губернатору внушало намерение Наполеона освободить русских крестьян от крепостной зависимости: «Иной вздумает, что Наполеон за добром идет, а его дело кожу драть; обещает все, а выйдет ничего. Солдатам сулит фельдмаршальство, нищим — золотые горы, народу — свободу; а всех ловит за виски,

да в тиски и пошлет на смерть: убьют либо там, либо тут».³¹ Но к счастью и к гордости Ростопчина, московский люд не внял слухам о готовящейся свободе и прочих благах. В письме к Балашеву от 30 июля 1812 г. он писал «слово *вольность*, на коей Наполеон создал свой замысел завоевать Россию, совсем в пользу его не действует. Русских проповедников свободы нет, ибо я в счет не кладу ни помешанных, ни пьяных, коих слова остаются без действия».³² «Но что приятно, — писал он 6 августа тому же адресату, — это дух народный, на него положиться можно; и я всякий день имею доказательства, что внушения его ни мало не колеблют».³³

Когда же Наполеон подошел к Москве, Ростопчин планировал выступить во главе вооруженного народа и принять участие в обороне столицы. К этому его призывал П. И. Багратион: «Мне кажется иного способа нет, как не доходя два марта до Москвы всем народом собраться и что войска успеет, с холодным оружием, пиками, саблями и что попало соединиться с ними и навалиться на них, а ежели станем отступать точно к вам неприятель поспешит».³⁴ 30 августа появилась афиша с призывом к народу готовиться к вооруженной обороне столицы: «Вооружитесь, кто чем может, и конные, и пешие; возьмите только на три дни хлеба; идите со крестом; возьмите хоругви из церквей и с сим знаменем собирайтесь тотчас на Трех Горах; я буду с вами, и вместе истребим злодея».³⁵ Помощник правителя Особенной канцелярии Министерства полиции М. Я. Фон-Фок доносил своему патрону А. Д. Балашеву: «Рассказывают, что Граф Ростопчин укрепляется с собранным им ополчением в Кремле, что сам одет в кафтане Русском и намерен защищать Москву до последней капли крови».³⁶

Ростопчин вынашивал более широкие замыслы, чем оборона столицы. В его намерения, видимо, входила организация широкой народной войны наподобие испанской, о чем писала впоследствии его дочь: «Мой отец хотел организовать войну гвериасов³⁷ или партизан, инициатива которой принадлежала селянам, но ему не дали ни времени, ни средств».³⁸

После того как Кутузов неожиданно для Ростопчина оставил Москву без боя у ее стен, Ростопчин пытался сыграть новую роль народного героя, которая еще раньше приходила ему в голову на случай захвата французами древней столицы. Речь идет о пожаре Москвы. Вопрос о реальной роли Ростопчина в этом деле хорошо исследован А. Г. Тартаковским.³⁹ Нас в данном случае интересует не событийно-фактический ряд сам по себе, а ростопчинская мотивировка и эволюция его признаний на этот счет. Сожжение собственного имущества хорошо вписывалось в концепцию народной войны. Само слово «пожар», перекликающееся с популярным в 1812 г. именем «Пожарский», открывало возможность для каламбуров, к которым ухо Ростопчина было особенно чутко.⁴⁰

Ростопчин это хорошо понимал, и еще до того, как вопрос об обороне столицы встал в повестку дня, он писал своему близкому другу П. И. Багратиону: «Народ здешний по верности к государю и любви к отечеству, решительно умрет у стен московских, а если Бог не поможет в его благом предприятии, то, следуя русскому обычаю: не доставайся злодею, обратит город в пепел, а Наполеон получит вместо добычи место, где стояла столица».⁴¹ Багратион был солидарен со своим корреспондентом, которого он считал «истинным русским вождем и барином»: «Истинно так и надо: лучше предать огню, нежели неприятелю».⁴²

Подобного рода заявления и последовавший за ними пожар навсегда связали имя Ростопчина с этим грандиозным событием: «Что касается до моего имени, — признавал он, —

то оно служит припевом к пожару, как припев Мальбруга в песне».⁴³ При этом Ростопчин то приписывал себе, то отрицал участие в московском пожаре. 2 сентября он писал жене: «Когда ты получишь это письмо, Москва обратится в пепел. Прости мое желание сделаться римлянином, но если бы мы не сожгли город, его бы разграбили».⁴⁴ Но уже через несколько дней в письме к Александру I Ростопчин высказывал предположение: «Виновниками этого пожара либо Французы, либо Русские воры; но я больше склонен думать, что это сами сторожа лавок, руководимые правилом: коль скоро не мое, так будь ничье!».⁴⁵ Перечисление различных версий свидетельствует о том, что московский генерал-губернатор пока еще только прощупывал почву для наиболее выигрышной позиции по отношению к пожару: следует ли присоединиться к французской версии о русских злоумышленниках-поджигателях, или же списать все на самих французов и в таком случае лишить себя национально-героического ореола самопожертвования, или же дать понять, что пожар есть проявление народного патриотизма, и тогда можно будет приписать себе честь инициатора этой величественной акции.

Версия о том, что французы сожгли Москву, продержалась довольно недолго, как в виду ее абсурдности (зачем французам жечь место собственного пребывания?), так и ввиду соблазна представить московский пожар актом величайшего народного самопожертвования. Но здесь «подвиг» Ростопчина остался неоцененным в полной мере. Одни не могли ему простить уничтожения собственного имущества, другие не верили в то, что московский генерал-губернатор по собственному почину мог решиться на столь масштабную акцию. Имя Ростопчина, если и связывалось с пожаром Москвы, то, как правило, в негативном смысле. Когда же речь заходила о великой жертве, принесенной народом, то о московском главнокомандующем предпочитали не вспоминать.

Зато в Европе Ростопчин в полной мере мог наслаждаться славой победителя Наполеона и вызывать шумный интерес как прямой потомок Чингиз-хана и представитель варварского народа, не останавливающегося ни перед какими жертвами во имя своей внешней независимости. «Но хотя, — писал он, — Бонапарт и сделал своими ругательствами имя мое незабвенным; хотя в Англии народ желал иметь мой гравированный портрет; в Пруссии женщины модам дают мое имя; хотя честные и благородные люди оказывают мне признательность: со всем тем есть много Русских, кои меня бранят за то, что они от нашествия злодея лишились домов и имущества, и многие, ничего не имевшие — миллионов!».⁴⁶ Трудно сказать, что было обиднее для «русофила» Ростопчина: хвала иностранцев или хула соотечественников. Но как бы то ни было, в 1823 г. в Париже он решил опубликовать «Правду о пожаре Москвы». Эта «Правда» должна была убедить европейцев, что московский главнокомандующий не имеет отношения к поджогу столицы. Доказывая стратегическую бессмыслисть этого мероприятия (пожар не мог истребить все, припасы почти все были вывезены, уничтоженная столица могла не задержать в себе Наполеона, а заставить его преследовать русскую армию и т. д.), Ростопчин склоняется к версии о самопроизвольном характере пожара: «Не могу я приписать ни русским, ни неприятелям исключительно». Правда, далее он снова возвращается к идеи народного сожжения столицы: «Главная черта Русского характера есть некорыстолюбие и готовность скорее уничтожить, чем уступить, оканчиваяссору сими словами: не доставайся же никому. В частных разговорах с купцами, мастеровыми и людьми из простого народа я слышал следующее выражение, когда они с горестью изъявляли свой страх, чтоб Москва не досталась в руки неприятеля: лучше

ее сжечь. Во время моего пребывания в главной квартире Князя Кутузова я видел многих людей, спасшихся из Москвы после пожара, которые хвалились тем, что сами зажигали свои дома».⁴⁷

Этими словами Ростопчин навсегда, как ему казалось, снимал с себя печать поджигателя Москвы. В «Записках о 1812 году» (1825) он уже не возвращается к этой теме, но по-прежнему отводит народу решающую роль в победе над Наполеоном. Он считает, что если бы даже Наполеону удалось завоевать Россию, то русский народ не признал бы прав завоевателя. «Народ этот — лучший и отважнейший в мире — нашел бы бесконечные ресурсы в обширности страны, им обитаемой, в ее климате и даже в ее бедности».⁴⁸

Итак, конструируя идеологему «народная война», Ростопчин преследовал в первую очередь две цели. С одной стороны, он стремился всячески принизить роль Кутузова в победе над Наполеоном, с другой стороны, как человек, претендующий на управление народным настроением в 1812 г., он отводил себе главную роль в спасении империи. Ростопчину, видимо, и в голову не могло прийти, что с течением времени, не он, а именно Кутузов, войдет в историю как организатор и вдохновитель народной войны.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Настоящая статья является фрагментом монографии, посвященной идеологии наполеоновских войн.

² Глинка С. Записки о 1812 году. СПб., 1836. С. 263.

³ Фабер Г. Ф. Русские люди в 1812 году: Отзыв современника-иностраница // Русский архив. 1902. № 1. С. 31–41.

⁴ Русская старина. 1901. № 3. С. 600.

⁵ Narishkine, m-me. 1812. Le comte Rostopchine et son temps. SPb., 1912. P. 125.

⁶ Вяземский П. А. Мемуарные заметки // Державный сфинкс. М., 1999. С. 421–422.

⁷ Narishkine m-me. 1812. Le comte Rostopchine... P. 125.

⁸ Ibid. P. 124.

⁹ Подробнее см.: Sandomirskaia I. «A heavy fatherland and a cruel language»: Admiral A. S. Shishkov and imperial symbolism in modern Russian language philosophy // Slavic Almanac. 2003. Vol. 9. P. 82–97.

¹⁰ Отечественная война в письмах современников (1812–1815) / Под ред. Н. Дубровина. СПб., 1882. С. 80.

¹¹ Ростопчин В. Ф. Ох, французы. М., 1992. С. 302.

¹² Narishkine m-me. 1812. Le comte Rostopchine... P. 120.

¹³ Русский архив. 1892. № 8. С. 562.

¹⁴ Русская старина. 1901. № 3. С. 598.

¹⁵ Русский архив. 1892. № 8. С. 539.

¹⁶ Там же. 1885. № 10. С. 244.

¹⁷ Отечественная война в письмах современников. С. 94.

¹⁸ Краткие записки адмирала А. Шишкова, веденные им во время пребывания его при блаженной памяти Государе Императоре Александре Первом в бывшую с Французами в 1812 и последующих годах войну. СПб., 1832. С. 70.

¹⁹ Ср.: Епанчин Ю. Л. Н. Н. Раевский и М. И. Кутузов // Военно-исторические исследования в Поволжье. Саратов, 2000. Вып. 4. С. 73.

²⁰ Листовки Отечественной войны 1812 года: Сб. документов. М., 1962. С. 47–48. Ср. со словами пушкинской Полины из «Рославлева»: «Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу» (Пушкин А. С. Поли. собр. соч. М., 1938. Т. 8 (1). С. 157).

²¹ Кутузов М. И. Письма. Записки. М., 1989. С. 358.

²² Русская старина. 1870. № 9. С. 305.

²³ Русский архив. 1892. № 8. С. 536.

²⁴ Несколько писем графа Ф. В. Ростопчина к графу П. А. Толстому 1812 года. Отд. отт. С. 189.

²⁵ Русский архив. 1892. № 8. С. 535.

²⁶ Там же. С. 535–536, 542.

²⁷ Там же. С. 539.

²⁸ Там же. С. 438.

²⁹ См.: Тартаковский А. Г. Военная публицистика 1812 года. М., 197. С. 67.

³⁰ Ростопчин Ф. В. Соч. СПб., 1953. С. 244.

³¹ Ростопчин В. Ф. Ох, французы. С. 212.

³² Отечественная война в письмах современников... С. 69.

³³ Там же. С. 82.

³⁴ Там же. С. 75.

³⁵ Ростопчин В. Ф. Ох, французы. С. 218.

³⁶ Архив СПБИИ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 232. Л. 32–33.

³⁷ Правильное написание — гверильясы от исп. «guerrillas».

³⁸ Narishkine т-ме. 1812. Le comte Rostopchine... Р. 179. Ф. В. Ростопчин демонстрировал свое испанофильтво. Близкий к нему А. Я. Булгаков в письме к жене от 23 октября 1812 г. писал: «Говорили о храбрых Испанцах; граф сказал: „Что касается до меня, то я кланяюсь два раза тому, кто чихает, понюхавши Испанского табаку... Я сам сжег Вороново”, — прибавил он. — Что такое Вороново? — спросил Jean Bart. — „Вороново, милостивый государь, мой загородный дом, под Москвой; а теперь буду строить свои замки только в Испании, сколько из любви к Испанцам, столько и по необходимости”» («Французское выражение: batir des chateaux en Espagne — равносильно русскому: строить воздушные замки» <примеч. П. Бартенева>) (Русский архив. 1866. С. 719).

³⁹ Тартаковский А. Г. Обманутый Герострат: Ростопчин и пожар Москвы // Родина. 1992. № 6–7. Историю вопроса см.: Горностаев М. В. Генерал-губернатор Ф. В. Ростопчин: Страницы истории 1812 года. М., 2003. С. 35–52.

⁴⁰ Так, например, после Бородинского сражения полковник Закревский говорил: «Если победа нам не достанется, то другой *Пожарский* придет к нам на помощь». Внук Ростопчина А. Сегюр, цитируя, по воспоминаниям Вольцогена, эти слова, пояснял французскому читателю: «*Пожарский* — имя освободителя Москвы в 1612, но в то же время это слово, происходящее от *pожар* (incendie), означает поджигатель (*un incendiaire*)» (Ségur A. de. Vie du comte Rostopchine, gouverneur de Moscou en 1812. Paris, 1871. Р. 189).

⁴¹ Русская старина. 1883. № 12. С. 651.

⁴² Отечественная война в письмах современников... С. 98, 108.

⁴³ Ростопчин Ф. В. Соч. С. 236.

⁴⁴ Narishkine т-ме. 1812. Le comte Rostopchine... Р. 171. В семье Ростопчина сохранилось устойчивое представление, что пожар Москвы есть результат хорошо спланированного замысла Ростопчина. Так, его дочь писала о «нескольких гражданах, наделенных героической душой, которых выбрал мой отец для того, чтобы поджечь магазины, лавки и дома» и добавляла, «все это было сделано без беспорядка и шума» (Ibid. Р. 157).

⁴⁵ Русский архив. 1892. № 8. С. 535.

⁴⁶ Ростопчин Ф. В. Соч. С. 301. О популярности Ростопчина в послевоенной Европе см.: Ségur A. de. Vie du comte Rostopchine... Р. 309–312.

⁴⁷ Ségur A. de. Vie du comte Rostopchine... Р. 212–213.

⁴⁸ Ростопчин Ф. В. Ох, французы. С. 294.

ВОЕННО-ЦЕНЗУРНЫЕ БАТАЛИИ ВЕТЕРАНОВ 1812 ГОДА: А. И. МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ И В. С. НОРОВ

В середине 30-х годов XIX в. в отечественной военной историографии произошло знаменательное событие: генерал-лейтенанту А. И. Михайловскому-Данилевскому высохшее было поручено описание войн Александровского царствования. Должности официального военного историографа, каковым в действительности являлся Михайловский-Данилевский, в государственном аппарате не существовало, поэтому специальнно для него в 1836 г. при Военном министерстве был создан Военно-цензурный комитет, председателем которого его и назначили. Совмещение в одном лице двух должностей — военного цензора и историографа — изначально заключало в себе противоречие. Отныне Михайловский-Данилевский, будучи сам плодовитым автором, должен был давать оценку творчеству своих коллег — военных историков и мемуаристов, в большинстве своем ветеранов наполеоновских войн. Он с рвением принял за дело и быстро заслужил репутацию придирчивого цензора. Вот как отзывался о нем один из его подчиненных, производитель дел Военно-цензурного комитета А. А. Харитонов: «Нельзя сказать, чтобы генерал-историк представлял собою симпатичную личность: льстивый угодник перед начальством, он держал себя гордо перед подчиненными. <...> Стrog он был и к авторам статей и книг, поступавших на его просмотр. Хорошо еще, что его цензорскую ретивость сдерживали члены комитета: Веймарн, Философов, Траскин и какой-то моряк (фамилии не помню) — все флигель-адъютанты».¹ Многие ветераны (Ф. Н. Глинка, Д. В. Давыдов, Р. М. Зотов, князь Н. Б. Голицын), решившие заняться литературным трудом, не избежали малоприятного для них общения (очного и заочного) с военной цензурой.

Одним из них был декабрист Василий Сергеевич Норов. Будучи офицером лейб-гвардии Егерского полка, он принял участие в сражениях 1812–1813 гг., был тяжело ранен под Кульмом. В 1823 г. он вышел в отставку в чине подполковника. Его имя неожиданно всплыло во время допросов декабристов, и хотя в момент восстания на Сенатской площади он находился в Москве, его арестовали и осудили как одного из самых опасных заговорщиков по 2-му разряду к 15 годам каторжных работ, но впоследствии срок был сокращен до 10 лет. Находясь в заключении, Норов написал мемуары о походах 1812–1813 гг. и отоспал их брату Аврааму Сергеевичу, чиновнику для особых поручений при Министерстве внутренних дел, который благодаря петербургским связям сумел провести мемуары осужденного декабриста через цензуру. В 1834 г. они вышли в свет под названием «Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тарутинского сражения до Кульмского боя», без указания имени автора.

«Записки» Норова являются самым крупным мемуарным произведением, посвященным эпохе 1812 г., вышедшим из декабристской среды.² Несмотря на название, они более соответствуют историческому труду, поскольку в них рассматриваются действия всей русской армии, включая армию П. В. Чичагова, корпуса П. Х. Витгенштейна и Ф. Ф. Эртеля. Несмотря на анонимность издания, личность мемуариста безусловно присутствует на страницах книги, более того — он узнаваем, хотя основное содержание

посвящено действиям всей армии. Впоследствии в предисловии ко второму изданию Норов ответил на вопрос, который ему, вероятно, неоднократно задавали: «Как мог частный офицер, служивший во фронте, иметь сведения о действиях армий?». В ответ он написал: «По прошествии нескольких лет после кампании, по прочтении своих и неприятельских реляций, соображая рассказ других свидетелей с собственными своими наблюдениями, всякой офицер, любящий свое ремесло и предварительно приготовленный изучением правил военной науки к здравому суждению о военном деле, не только может, но и должен из любви к истине, к славе отечественного оружия и к науке рассказать, что знает для опровержения хвастовства иностранных и своих писателей»³.

В Отделе рукописей Российской Национальной библиотеки хранятся «Записки» Норова, подготовленные ко второму изданию, представляющие собой своеобразный книжный памятник истории военной цензуры.⁴ Автор расплел экземпляр первого издания, между печатными листами проложил чистые листы бумаги, после чего вновь переплел. На этих чистых листах он сделал обычными чернилами исправления и дополнения для второго издания. Когда книга поступила в военную цензуру, Михайловский-Данилевский внес свои замечания красными чернилами. Затем переплет вернули Норову, который письменно ответил на все замечания цензора на тех же листах. Так в печатной книге появились три слоя рукописных записей, и теперь в распоряжении исследователей имеется уникальный документ — полемика между автором и цензором, зафиксированная на бумаге.

В большинстве случаев Михайловский-Данилевский отсыпал мемуариста к своему официальному труду: «Объяснено в Истории 1812 года» или «Поверить с Историей». В одном из таких мест Норов не удержался и съязвил в ответ: «Писано прежде издания Истории г-на Данилевского». Правка чужих мемуаров по собственному историческому сочинению достаточно ярко характеризует пристрастность Михайловского-Данилевского. Некоторые его замечания были справедливы: в них устранялись фактические неточности — и с эти автор согласился. Например, в значительной части пришлось переписать описание Бауценского сражения.

Наибольший интерес для историков представляет их заочная полемика, достаточно горячая, если принять во внимание ту форму, в которой она велась. Например, по поводу описания сражения 4 ноября под Красным.

Замечание

А. И. Михайловского-Данилевского

Описание сего сражения надобно сличить с нашей Историей, основанною на русских документах, а здесь списано оно с французских бюллетеней.

Ответ

В. С. Норова

Это взято не из бюллетеней, но из Истории Шамбре, по сих пор лучшего писателя о сей войне и согласно описанию русского сочинителя генерала Бутурлина. Я чужого ни откуда не списываю, и в замечании указал, на чьем сочинении основываю свой рассказ. Шамбре, как и я, никогда не верил бюллетеням и во многих местах уличал их во лжи.

Не менее принципиальная полемика разгорелась по поводу исхода Люценского сражения. Это один из многочисленных примеров, когда каждая из противоборствовавших сторон считала сражение выигранным. Беспристрастный Норов утверждал, что сражение при Люцене выиграли французы, но цензор воспротивился такой трактовке:

Текст	Замечание	Ответ
B. С. Норова	A. И. Михайловского-Данилевского	B. С. Норова

Напротив того, мы видим, что неприятель выиграл сражение искусственным употреблением артиллерии, которую он успел скоплять большими массами на решительных пунктах, и особенно превосходным движением вице-короля к Эйсдорфу.

NB. Неприятель не выиграл сражения.

Если неприятель не выиграл сего сражения, то мы его выиграли, а если мы остались победителями, то как же мы очутились через несколько дней за Эльбою вместо того, чтоб идти к Рейну?

Интересно, что в своих мемуарах, не публиковавшихся при жизни, Михайловский-Данилевский, как это ни удивительно, солидарен с Норовым в оценке Люценского сражения. Он писал, что главнокомандующий граф Витгенштейн проявил себя с худшей стороны, но «за сие сражение получил Андреевскую ленту, ибо хотели представить дело в реляциях в виде победы». Далее он пессимистично заметил по поводу этой победной реляции: «Какова должна быть история, основанная на подобных материалах, а к сожалению, большая часть историй не имеет лучших источников».⁵ Эти слова оказались пророческими и применительно к собственному, тогда еще ненаписанному историческому труду.

Еще одним источником, свидетельствующим о трудной цензурной судьбе второго издания «Записок», служат письма автора к младшему брату, также хранящиеся в архиве А. С. Норова в Отделе рукописей Российской Национальной библиотеки (ОР РНБ, ф. 531, ед. хр. 477).

Первое письмо, в котором идет речь о «Записках», не датировано, вероятно, оно относится к 1828 г.: «Об издержках, касательно моих записок, пишу маменьке. Надо же, чтоб остался какой-нибудь памятник после моей смерти. Я все пересмотрел и поправил. Но в предисловии ты должен, как издатель, непременно сказать, что записки сии вверены были тебе автором в 1824 году, что они большею частью писаны на память и не литератором, но фронтовым офицером».⁶ Замысел В. С. Норова понятен: предвидя возможные осложнения с цензурой, он называл более раннюю дату написания мемуаров — до восстания декабристов и ареста.

Опубликовать мемуары государственного преступника, находящегося в заключении, было трудной задачей, этот процесс занял несколько лет. В письме от 22 октября 1832 г. В. С. Норов еще раз подчеркнул, что писал свои мемуары «совершенно на память», причем вторая их часть была написана «наскоро несведущим писарем под мою диктовку». В конце письма имеется приписка: «Впрочем, говоря о моих записках, я скажу тебе, что не гонясь за совершенством слога, я ручаюсь за истину и беспристрастие рассказа и не страшусь критики». В этом же письме он говорит о мотивах, побудивших его засесть за мемуары: «Впрочем, несмотря на их несовершенство, я бы желал, по многим причинам, чтоб они вышли в свет, хотя бы только для того, чтоб после моей смерти остался хоть какой-нибудь по мне памятник и чтоб кто-нибудь из моих сослуживцев, узнавая меня по сим строкам, уронил хотя одну слезку сожаления на забытую и бесславную мою могилу».

Очень быстро Норов стал готовить второе издание и вскоре выслал брату исправленный и дополненный экземпляр. В конце 1836 г. он уже не сомневался, что новое

издание «Записок» находится в печати, но, к его несчастью, именно в декабре 1836 г. создали Военно-цензурный комитет, что чрезвычайно затруднило публикацию.

В феврале 1835 г., после десяти лет содержания в крепости, В. С. Норова отправили рядовым в 6-й линейный Черноморский батальон, а спустя два года он получил унтер-офицерский чин за отличие в сражениях на Кавказе. Теперь он хотел, чтобы мемуары вышли с указанием его авторства: «Имя мое поставить необходимо надо и не думаю, чтоб с сей стороны ты встретил затруднения, особенно теперь, когда я солдат».⁷

Первоначально мемуарист отнесся достаточно легкомысленно к известию о необходимости прохождения военной цензуры: «Данилевского замечания ко мне не пересылай: 1-е, потому что покуда они ко мне дойдут, пока я их разберу и мой ответ дойдет до тебя, надо ждать целый год и более. 2-е, потому что во многом не смогу быть с ним согласен. В 3-х, потому что если я внесу в мое сочинение его мысли и суждения, то это будет не мое, а его сочинение».⁸

В 1836–1839 гг. современники с нетерпением ожидали, когда же будет опубликована история Отечественной войны 1812 г., над которой работал А. И. Михайловский-Данилевский. Норов, будучи на Кавказе, также с нетерпением ждал ее выхода в свет: «Коль скоро выйдет Данилевского История 1812 года, тотчас пришли мне; но сам посуди: покуда я ее получу и покуда ты получишь мой ответ на его замечания, пройдет непременно два года. А в два года я непременно сделаюсь жертвою здешнего климата. По смерти моей, к чему мне послужит издание моей книги? Сверх того, если я переделаю мою книгу по Данилевскому, то это будет его сочинение, а не мое. Прошу тебя, милый друг, выдать мою книгу так, как она есть теперь, после доставленных тебе исправлений и дополнений, а замечания Данилевского ты можешь, как издатель, поместить сам в конце книги. Еще скажу тебе, что у меня не осталось более ни одного экземпляра моего старого сочинения и мне не на чем делать новые исправления. Займись сам этой работой, собери все мои поправки и поступи, как я тебя просил, лишь только распродадутся последние экземпляры. Пусть Данилевского сочинение имеет свое достоинство, а мое — свое. Если б я был в Петер[бурге], то мог бы воспользоваться его замечаниями, но я за 3 000 верст и при столь затруднительных сообщениях наши переписки будут вояжировать несколько лет, а тогда меня не будет на свете. <...> В заключение скажу тебе, что мое сочинение не есть полная история, но простой рассказ очевидца, сделанный на память, все важнейшие ошибки исправлены, а суждений своих я не могу переменить для господина Данилевского. Словом, моя книга должна остаться так, как она есть после последних исправлений, тобою полученных, и ты меня много бы утешил, если б издал ее в нынешнем году».⁹

Военно-цензурный комитет не спешил с выдачей разрешения, и рукопись пришлось править еще раз. В январе 1838 г. В. С. Норов был уволен от службы и ему позволили поселиться в Ревеле. Именно там он наконец-то получил в руки книгу А. И. Михайловского-Данилевского, по прочтении которой написал брату в Петербург:

«Вообрази мое удивление, что в IV томе на 18 странице сверху донизу нашел почти буквально выписанный мой рассказ о Красненском деле, на 21-й тоже, наконец вся 173 страница совершенно моя.

Бессспорно прямое и собственное назначение исторических записок состоит в том, чтоб служить материалами для истории, но ежели г-н Данилевский думал сделать мне честь ввести мой рассказ во многих местах, то по крайней мере справедливость требовала

в примечаниях указать на эти материалы où il a puisé (откуда взято. — *фр.* — A. C.). Впрочем, натурально об этом ни слова не говоря ему, а только из любопытства возьми у кого-нибудь его IV часть 12 года и сличи указанные страницы с моим рассказом о Красном, о преследовании к Борисову и другие места, ты сам увидишь.

О пристрастии нечего говорить, но одно нестерпимо смешно для военного. Он уверяет, что Кутузов не помог Милорадовичу под Вязьмой, от которой он был вечером в 8 верстах, оттого, что получил ложное известие, что Милорадович не теснит неприятеля, но сам тесним им и отступает, но именно этот слух не должен ли бы его понудить удвоить шаг и подкрепить Милорадовича?? Но Данилевский врет, я сам помню, как 22 октября в 3-м часу пополудни мы все офицеры с наших бивок близ Быкова не только слышали, но даже собственными глазами своими видели ружейный огонь стрелков и всю массу французскую, отступающую от Милорадовича, и бесились от досады, что явно открывают дорогу бегущему неприятелю. Спроси об этом, кого хочешь из свидетелей. Наконец к вечеру побужденный кем-либо из генералов, или по укоризны собственной совести Кутузов отдал повеление двум егерским полкам, и двум батальонам нашего 3-му и 1-му идти на подкрепление Уварова, который с отборною кавалерию, дойдя до ручья, стал как в пень и ограничивался одной канонадой издали, уверяя, что без пехоты ничего не может делать. В это самое время наши варили кашу для ужина, Бистром, получа приказание, велел опрокинуть котлы и становиться в ружье, как вдруг приезжает сам Лавров с контррордером составить ружья и оставаться на месте, между тем каша была уже вылитая! Я помню, как карабинер нашей роты Таубер Шмит, вольно-определенный из курляндцев и потом убитый под Кульмом — сказал смеясь: „Ну ребята! Пропала каша и слава наша, француз пошел на серетир,¹⁰ а мы смотрим на него как вороны, разиня рот!“ Но таких примеров много. Беннигсен, сидя на барабане, просто бранил Кутузова. Но такие анекдоты, хотя характеризуют эпоху, не могут быть еще описаны. *Nous autres contemporains et acteurs nous ne lirons jamais la véritable histoire de cette guerre* (Но нам, современникам и участникам, уже не доведется прочесть истинную историю этой войны. — *фр.* — A. C.). <...> Я не очень здоров, пришли мою книгу, увижу, чего они от меня требуют?».¹¹

2 октября 1839 г. Михайловский-Данилевский возвратил А. С. Норову экземпляр «Записок» для исправления мест, отмеченных красными чернилами.¹² А. С. Норов переслал его автору, быстро ответившему на все замечания цензора и выславшего книгу обратно в Петербург вместе с подробной инструкцией:

«Здравствуй милый и любезной брат Абрам, возвращаю тебе мою книгу, и прошу тебя:

1-е. Потрудиться пересмотреть мои ответы на замечания Данилевского, и мои поправки, и выкинутые места и, не переменяя ничего самому, показать ему как можно скорее.

2-е. По возможности узнать правила цензуры и что Данилевский имеет право требовать и чего не вправе переменить?

3-е. Те места, где ты увидишь, что ничего нет противного правилам цензуры, а только потому не нравится г-ну Данилевскому, что я другого с ним мнения, — те места по возможности настаивай оставить как есть (они означенены сими словами карандашом). Буде он будет и в этих местах упорствовать, то мой ultimatum вот какой: чтоб он или ты (как издатель), внизу страниц присовокупил замечания, основанные на его суждении, а мой текст не трогать.

4-е. Ни под каким видом не оставляй более мою книгу у Данилевского. Вот почему: открыл в его Истории, что он многие страницы целиком взял у меня бессовестно, я имею причину подозревать, что он разными проволочками, пересмотрами, перемараниями хочет воспрепятствовать второму изданию моей книги и потому не выпускай ее из рук — а предварительно попроси его, чтоб он назначил тебе время, когда ты можешь показать ему мою книгу — и тогда на месте уже, показав ему мои поправки, окончательно реши с ним печатание оной. Для тебя он будет снисходительнее, нежели для меня, ибо я должен по всему думать *qu'il me deteste comme son rival me voyant sur son chemin* (что он ненавидит меня, как соперника, оказавшегося на его пути. — фр. — А. С.).

5-е. Дай ему учтивым образом почувствовать, что никто не обязан платить 50 р., чтоб читать его Историю, и что он не имеет права, чтоб все верили ей, как Священному Писанию — что кроме него есть Бутурлин, такой же русский генерал, на коем я во многих местах основываю свои суждения, и Жомини, другой русский же генерал, *mais bien d'une autre réputation que la*¹³ (но имеющий совсем другую репутацию. — фр. — А. С.).

6-е. Приступи к литографированию карт и планов по моим прежним указаниям, коих ты верно не затерял. Не страшись и не сетуй на меня, что я возложил на тебя поневоле труд поверить число убитых и проч. в Бородине и общий итог (того и сего) после кампании, потому что со мной здесь нет Бутурлина, а Данилевского Историю Гейден кому-то отдал, но на все сие тебе довольно час времени. Возьми последние страницы 4-й части Данилевского, или 2-ой Бутурлина и поставь это число, по той или по другой, и если можно оставя мой счет, сказать в замечании, что Данил[евский] вот так показывает, а Бутурлин так, и, пожалуй, можешь сказать, что их счет должен быть вернее, потому что мои записки писаны на память.

7-е. Пожалоста, мой друг и брат, взгляни, что говорит Данилевский о причине, почему Барклай остановился у Каспли, начав наступательное движение, и согласно его описанию, помести это в замечании и ставь всегда прим. Издат.

8-е. Настаивай, если можно, чтоб в заглавии было мое имя так:

Василия Норова.

9-е. Сюда из Любека пришел пароход с книгами и эстампами для Болизара. Пожалоста, съезди к нему или кому другому и посмотри, нет ли у него гравюры или литографии, виденной мною у Гейдена *le passage de la Bérésina* (переправа через Березину. — фр. — А. С.), или с нем[ецкой] надписью *Übergang über die Bérésina*, та самая, *en grand*, которая находится в 3-й части Шамбре, и уведомь меня о цене.

Прошу тебя для меня, не ссорься с Данилевским, а старайся à l'amiable (любезно. — фр. — А. С.) все с ним кончить при первом с ним свидании и уведомь меня скорее об успехах твоей Дипломатики, будь Меттернихом и не горячись, где настаивай, а где уступай — и главное покажи ему, что все, что он требовал об австрийцах — уничтожено, а о Кутузове — смягчено или переменено, и что я о нем говорю с большим уважением, как и в самом деле я его уважаю не менее Данилевского, но что правда, то правда; а правду надо уважать более всего. <...>

P.S. De grâce donnez moi une journée pour vérifier les nombres, et une autre journée pour finir avec Danilevsky — j'ai fait toutes les corrections possibles — le reste. Arrangez je vous en pries vous même, je souffre des maux de tête (Будь милосерден, посвяти мне день, чтобы проверить цифры и еще один, чтобы закончить с Данилевским; я внес все возможные исправления. Прошу тебя, согласуй все сам, у меня болит голова. — фр. — А. С.).

Очень бы ты меня обрадовал своим приездом и изданием книги к Новому году. Если Данилевский будет упорствовать, что Наполеон не выиграл Люц[енского] сраж[ения], то, черт его возьми, поставь так в том месте: мы видели, что неприятель устоял против наших атак...

NB. При печатании не смешай моих ответов Данилевскому с моими поправками, для чего я думаю, показав ответы ему, после их вымарай, а оставь только поправки».¹⁴

Спустя неделю он пишет вдогонку очередное письмо, свидетельствующее о том, насколько его тревожили изменения текста по замечаниям Михайловского-Данилевского:

«Напиши мне, получил ли ты обратно мою книгу с ответами на замечания Данилевского и с поправками, по его требованию или по моему усмотрению сделанными. Сделай одолжение, скорее кончи с ним; но для этого надобно, чтоб ты сам со вниманием рассмотрел книгу, чтоб удостовериться в справедливости моих ответов, и в необходимости удержать те места, кои я прошу его оставить неприкосновенными, ибо не заключают ничего противного правилам цензуры, равно необходимо, чтоб ты знал, что он имеет право требовать и чего не имеет справедливой причины переменить. Если ты рассмотришь его описание Красненского сражения 5 ноября, преследования французов к Березине и самую Березинскую переправу, то ты сам увидишь, что покрав бессовестно у меня целыми страницами, немудрено, что он ищет, исказив своими несправедливыми вымарками мой рассказ о Люценском сражении и другие места моего сочинения, единственно имеет в виду воспрепятствовать второму изданию, полагая, что первое уже забыто à fin de cacher son vol (чтобы скрыть свою кражу. — фр. — A. C.).

В прошлом письме я изъяснил тебе, как прошу я тебя действовать, но забыл указать на одно место:

При конце первой части, оспаривая у франц[узских] писателей мнимое нравственное превосходство их армии над нашою и приводя доказательства из самых событий первой эпохи кампании 1812 года, я между прочим говорю: „и везде неустрасимостию своею отвращали несчастные последствия некоторых распоряжений”. Данилевский это вымарал и поставил: „и везде отражали неприятеля”.

Но если так оставить как он хочет, то следующая моя фраза: „но война рождает генералов” (им оставленная), не будет иметь смысла. Следовательно, прошу тебя это с ним уладить, и если необходимо будет заменить это твоим выражением, соображая с мою мыслью: что войска наши, не имея столь искусного предводителя, как Наполеон, храбростью своею и твердостью отвращали бедствия, кои могли бы воспоследовать от ошибок генералов. Дела под Островною и Валутиным в 1812 году и под Кульмом в 1813 году служат тому неоспоримыми доказательствами — взгляни на карту и посуди сам.

Движение Барклая к Дрисе, когда Багратион был в Слуцке, позволило Наполеону проникнуть между ними, и он был уже в Бешенковичах, когда Барклай, постигнув наконец его намерение и свою ошибку, спешил форсированным маршем из Полоцка к Витебску, чтоб упредить тут Наполеона и успеть соединиться с Багратионом в Орше или в Смоленске. Для сего Барклай послал вперед авангард под начальством Остермана чрез Витебск в Островну навстречу французам. Здесь Остерман целый день держался против превосходных сил и, хотя принужден был отступить к речке Лучесе, где подкреплен был Коновницыным, с потерю нескольких орудий, однако, дал время Баркллю прийти в Витебск прежде Наполеона, чего нельзя было ожидать. Вот первый пример.

После Смоленского сражения Барклай, оставя сей город, пошел по Петербургской дороге, а Багратиона отправил по Московской. Ошибка важная, ибо часть французской армии под начальством Нея и Мюратом опять проникла между двумя нашими армиями и дошла уже до Лубина близ Валутиной горы, когда Барклай проселком спешил во всю мочь из Горбунова к Бредихину, чтоб прежде французов успеть выйти на Московскую дорогу и не быть отрезану опять от Багратиона. Для этого он опять посыпает авангард под начальством Тучкова навстречу неприятелю, чтоб Тучков у Валутиной горы удерживал французов, пока он (Барклай) успеет выдвинуть свою армию из проселочной дороги на Московскую. Авантгард Тучкова долго держался один против четверых у Валутина и дал время Барклаю выйти прежде неприятеля на Московскую дорогу. Другой пример.

Наконец, третий пример — Кульмское дело, которое ты хорошо знаешь. Вот три примера, служащие доказательством, что войска наши неустранимостью своею и твердостью отвращали несчастные последствия некоторых распоряжений. Растолкуй это Данилевскому, да напомни ему, пожалуйста, как Докторов был брошен на жертву под Дирнштейном (1805), а Багратион под Шенграбеном, чтоб прикрыть отступление вечно отступающего Кутузова. Как Милорадович с двумя дивизиями (Паскевича и Чоглокова) сбил три неприятельские корпуса (принца Евгения, Нея и Понятовского) и отрезал, и заставил бежать четвертый (Даву) под Вязьмою, между тем как Кутузов и Уваров, сложа руки, смотрели на всю эту потеху — растолкуй ему все это и пусть он по совести скажет, справедливы ли мои упреки некоторым генералам».¹⁵

Действительно, текстуальные совпадения имеются, но серьезного повода обвинять А. И. Михайловского-Данилевского в plagiatе нет. Безусловно, он использовал мемуары Норова, но сослаться в книге, изданной по высочайшему повелению, на воспоминания государственного преступника не мог. Единственный из декабристов, упоминаемый на страницах его «Истории Отечественной войны в 1812 году», — М. Ф. Орлов, к тому времени был уже прощен императором.

Норов не мог успокоиться, считая замечания цензора придирками и написал очередное письмо, на этот раз об ошибках Кутузова.

«В предисловии поставь число и место, где я писал его и откуда он послано. Это удостоверит Данилевского, что я за Кавказом и два года прежде издания его Истории не мог знать его объяснений о непостижимых маневрах Кутузова и что теперь, не имея его книги, не обязан платить 50 руб. и верить его изъяснениям, которые, впрочем, ничего не поменяют, и что по сих пор остается истиной то, что Кутузов упустил Наполеона из рук три раза:

1-е, под Вязьмою: не подкрепил Милорадовича;

2-е, под Красным: не ударив на него со всею армию и приостановив движение Тормасова;

3-е, на Березине: оставшись сам в Копысе, вместо того, чтоб отправиться к действующим войскам и наблюдать за направлением Наполеона.

Когда же все кончилось, и Наполеон ушел, Кутузов прибыл к армии Чичагова!

Что впрочем там, где ему что-нибудь не нравится и кажется несправедливым, пусть он внизу страницы поставит свои замечания, не вымарывая мой текст.

Что везде, где он имел какую-нибудь причину требовать перемены, я сделал по его требованию, например о Шварценберге и проч.»¹⁶

Второе издание «Записок» Норова так и не вышло в свет. Причина этого не только в придиличности цензора, его предвзятости по отношению к конкурентам, писавшим об эпохе 1812 г. В 30-е годы XIX в. принципиально изменилось направление развития русской военной историографии. От публикаций исследований в духе А. Жомини, Д. П. Бутурлина, П. П. Сухтелена, проникнутых «идеей общегражданства», авторы которых «забывали, в чьих рядах сражались», постепенно отказались. Правящие круги поощряли сочинения патриотические и описательные, преследующие более идеологические, нежели научные цели. В. С. Норов был последователем Жомини и Бутурлина: так же, как и они, мемуарист-историк призывал «забыть, к которой стороне мы принадлежали», для того чтобы сделать военно-историческое исследование действительно беспристрастным. Поэтому переиздание его книги было уже не ко времени.

На первый взгляд победу в военно-цензурной баталии двух ветеранов 1812 г. одержал Михайловский-Данилевский, причем исключительно благодаря своему служебному положению. Однако последний залп или отголосок этого сражения последовал спустя почти двадцать лет, когда победителя уже не было в живых: в 1858 г. по инициативе министра народного просвещения А. С. Норова Военно-цензурный комитет упразднили. Вероятно, его предложение основывалось на собственном печальном опыте общения с военной цензурой.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Из воспоминаний А. А. Харитонова // Русская старина. 1894. № 1. С. 117–118.

² Тартаковский А. Г. 1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995. С. 46.

³ ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 477. Л. 68.

⁴ Там же. Q.IV. 321.

⁵ Михайловский-Данилевский А. И. Журнал 1813 года // 1812 год. Военные дневники. М., 1990. С. 335–337.

⁶ ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 477. Л. 61.

⁷ В. С. Норов — А. С. Норову 10 марта 1837 г. (ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 477. Л. 14–15).

⁸ В. С. Норов — А. С. Норову 4 июля 1837 г. (Там же. Л. 27–28).

⁹ В. С. Норов — А. С. Норову 3 сентября 1837 г. (Там же. Л. 32–35 об.).

¹⁰ Серетир — от фр. se retirer (отступать).

¹¹ В. С. Норов — А. С. Норову б./д. (ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 477. Л. 59–60 об.).

¹² А.И.Михайловский-Данилевский — А. С. Норову 2 октября 1839 г. (РГВИА. Ф. 494. Оп. 1. Д. 40. Л. 2).

¹³ Если он скажет, что и в правках есть ошибки, скажи ему что таким образом les corrections n'auront plus de fin, qu'il n'y a que Dieu qui est infaillible (исправлениям не будет конца, только Господь Бог непогрешим. — фр. — А. С.), что за ошибки пусть меня критируют, а не его (примеч. В. С. Норова).

¹⁴ В. С. Норов — А. С. Норову 16 ноября 1839 г. (ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 477. Л. 40–40 об.).

¹⁵ В. С. Норов — А. С. Норову 23 ноября 1839 г. (Там же. Л. 42–43 об.).

¹⁶ В. С. Норов — А. С. Норову б./д. (Там же. Л. 74).

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ЕРМОЛОВ — ПОКОРИТЕЛЬ КАВКАЗА (Размышления перед портретом)

Подобно тому как имена А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова прочно связаны с турецкими войнами второй половины XVIII столетия, а образы М. И. Кутузова, П. И. Багратиона и М. Б. Барклая де Толли обязательны при создании картины эпопеи 1812 г., имя генерала Алексея Петровича Ермолова неотделимо от Кавказской войны. В исторической памяти российского общества именно он значится покорителем этого края.

Почему именно Ермолов стал «брэндом» Кавказской войны? Почему остальные генералы прикрыты дымкой забвения, несмотря на усилия официальной историографии и действительные заслуги в деле расширения имперских границ?

В полуторавековой истории завоевания Кавказа от персидского похода Петра Великого (1722) до подавления восстания в Терской области (1877) «десятилетие Ермолова» (1816–1826) составляет довольно скромный временной отрезок. Более солидно выглядит время его командования, если считать началом войны основание крепости Грозная (1817), а окончанием — прекращение организованного сопротивления горцев Западного Кавказа (1864). Однако традиционные хронологические рамки этого самого затяжного военного конфликта вызывают множество вопросов, поскольку сами по себе являются следствием мощного идеологического давления на отечественную историографию.¹

Он был одним из тринадцати главнокомандующих за период с 1802 по 1864 г. После того как человек, получивший неофициальный титул покорителя Кавказа, навсегда покинул Тифлис, само это покорение продолжалось еще несколько десятилетий. Все племена, которые он вынудил принести присягу, впоследствии неоднократно брались за оружие, и русским войскам не раз приходилось проливать кровь там, где Ермолов проезжал с символическим конвоем.

Формированию подобной устойчивой точки зрения способствовал целый ряд обстоятельств. До 1820-х гг. горцев считали не противниками, а разбойниками. Соответственно действия против них — полицейскими, а не военными акциями. История Кавказско-горской войны, как ее стали называть, писалась как бы с чистого листа, и на первой строке значилось — Ермолов.

Признание этого генерала победителем позволяло считать Чечню и Дагестан российской территорией, а горцев, вновь взявшихся за оружие, не воюющей стороной, а бунтующими подданными, нарушившими ранее данную присягу.

Неудачи 1830-х — начала 1850-х гг. объяснялись «фанатизмом» противника, а также отступлением от ермоловской стратегии, представлявшей собой комбинацию рубки леса, экономической блокады, карательных экспедиций и основания опорных пунктов на территории Чечни и Дагестана. Именно возвращение к этой системе обеспечило перелом, наступивший в начале 1850-х гг., а князь А. И. Барятинский, пленивший Шамиля, изображался преемником легендарного героя. Кроме того, заслугой Ермолова считают приведение обмундирования в соответствие с местными требованиями и отказ от масштабных и бесплодных экспедиций, характерных для последующих десятилетий.

Все эти положения нуждаются в комментировании. Массированная рубка леса вовсе не была «изобретением пороха»: еще в XVIII в. крымские татары собирались таким образом покорять жителей Западного Кавказа. До начала XIX столетия командование не планировало масштабных действий в лесных районах и, что более важно, не имело достаточно сил для прокладки и периодической прочистки широких просек. Кроме того, при Ермолове рубка леса была не составной частью общего стратегического плана, как при М. С. Воронцове и А. И. Барятинском, а только способом избежать больших потерь и проводилась только в рамках конкретной военной операции, что являлось существенным различием. Не был пионером Ермолов и в плане адаптации армейского обмундирования к условиям горной войны: его предшественники также видели нелепость киверов и тяжелых ранцев за пределами парадного плаца.

Общим местом в истории Кавказской войны является описание тревожной жизни гарнизонов, постоянно ожидавших внезапного нападения горцев. Ограничение русской власти линией крепостных валов часто связывают с ошибочной стратегией 1830–1840-х гг. Но и крепость Грозная, в которой долго сохранялась мемориальная землянка Ермолова, три десятилетия спустя после своего основания в 1817 г. подвергалась обстрелам и налетам.

Ермолов был далеко не безгрешен как военачальник. Неудачи русских войск на первом этапе войны с Персией 1826–1829 гг. — во многом на его совести, поскольку он явно недооценил противника, не принял мер к тому, чтобы собрать в один кулак части, рассеянные вдоль границы. Не обнаружено прямых свидетельств саботажа Ермолова, оскорбленного тем, что его поставили в положение «провиантмейстера» при Паскевиче, но его деятельность по организации закупок хлеба и поставок его в войска в 1826 г. — ниже всякой критики. Преступные (другое определение трудно подобрать) упущения в интендантской сфере поставили на грань катастрофы гарнизон осажденной персами крепости Шуша, сковывали действия русских войск в Азербайджане, заставили надолго отложить решительное наступление на Тебриз.² Только отказ выполнять приказы Ермолова позволил командирам некоторых частей избежать полного уничтожения.³

Крупнейшей стратегической ошибкой Ермолова явились его действия по подрыву власти местной знати, в результате чего в 1830–1840-е гг. русское правительство оказалось перед лицом военно-демократического общества горцев, аморфного, неконтролируемого и абсолютно неспособного к политическим контактам, по крайней мере в том формате, который был приемлемым для России. Он называл себя преемником П. Д. Цицианова, также считавшего ханов и беков главными противниками.⁴

Почти все главнокомандующие на Кавказе грешили составлением химеричных планов покорения края, но при упоминании о штабных фантазиях И. Ф. Паскевича, М. С. Воронцова, Г. В. Розена и Е. А. Головина крайне редко вспоминают о том, что и Ермолов собирался «решить проблему» за два года силами двух дивизий.

Действительно, Ермолов в нескольких сражениях разгромил ополчения чеченцев и дагестанцев, фактически не имевших опыта боев с регулярными войсками и понесших огромные потери от картечных залпов. Горцы оказались толковыми учениками, и уже его преемники — Г. В. Розен, А. И. Нейдгардт, Е. А. Головин и М. С. Воронцов на себе испытали, насколько хорошо они усвоили уроки 1820-х гг.

Правила войны на Северном Кавказе во многом отличались от правил европейских. Здесь едва ли не единственным типом операции был набег — быстрое вторжение на

территорию противника, грабеж и возвращение в исходную точку. Даже нашествия персов, турок, крымских татар были не чем иным, как массированными набегами, поскольку пришельцы не делали попыток обосноваться в горах и не навязывали местным жителям своих норм существования. Изъявление покорности в таких условиях было средством избежать больших человеческих и материальных жертв, поскольку действенных механизмов порабощения и эксплуатации в специфических условиях горного Кавказа не могло существовать в принципе. Присяга в такой ситуации была вариантом перемирия, заключавшегося для выжидания времени, когда его можно будет без особых проблем нарушить. Походы Ермолова 1817–1819 гг. не выходили за рамки того, что Кавказ переживал не единожды, чем во многом и объясняется сравнительно слабое сопротивление чеченцев и дагестанцев. Однако его дальнейшие действия противоречили всем представлениям о войне, которые в силу огромной роли военной составляющей в жизни горского общества являлись едва ли не основой местной картины мироустройства. Русские добились присяги и не ушли! Более того, они стали вмешиваться во внутренние дела горцев, что последние считали совершенно недопустимым. По мере того как население Дагестана и Чечни осознавало весь радикализм перемен, возрастало и сопротивление.

Действительно, удары 1817–1819 гг. настолько шокировали горцев, что к 1821 г. прекратились массированные набеги на грузинские и русские поселения, практически все общества восточного Кавказа «изъявили покорность». Но уже вскоре появились грозные признаки того, что присяги, данные Ермолову, ничуть не прочнее тех, которые получали от горцев на протяжении предшествующего столетия. Однако это, как мы видим, не помешало считать его покорителем Кавказа и победителем в войне с горцами.

Очевидная для такого опытного военачальника неустойчивость уже достигнутого покорения горцев толкала Ермолова на усиление репрессивного курса. Он все чаще стал делать ставку на устрашение. Вот одна из его «инструкций»: «...по открытии, где прошла партия (отряд горцев. — В. Л.), исследуется, точно ли защищались жители и были со стороны их убитые в сражении или они пропустили мошенников, не защищаясь; в сем последнем случае деревня истребляется, жен и детей вырезывают».⁵ Создается впечатление, что сам Ермолов верил, что дело не дойдет до масштабных репрессий, что «примерные» экзекуции и экономическая блокада вынудят горцев принять его условия.⁶ Можно согласиться с утверждением М. Блиева, что главнокомандующий «не смог подняться до понимания того, насколько он отдаляется... от успеха в „усмирении“ и „преобразовании“ Кавказа. Бессильный перед стихией набегов, А. П. Ермолов постепенно превращался в „грозу горцев“, кавказского Чингисхана. Он не гнушался этой роли. Напротив, чем больше загадок ставили перед ним „вольные“ общества, тем азартней велась игра».⁷ Однако генерал не понимал или отказывался понимать, что подобные действия в условиях института кровной мести не могут не вызвать ответной жестокости. Дробность горского социума сильно снижала эффективность устрашения как такового: известия о расправе над одним аулом «принималась к сведению» в другом, мужчины которого считали себя более храбрыми и удачливыми. Если даже молва о репрессиях достигала адресата, устрашенные соседи в лучшем случае приносили присягу, собираясь соблюдать ее не дальше необходимого. С точки зрения горцев требование не пропускать через свои земли отряды, идущие в набег, вообще было абсурдно:

Ермолов толкал их на войну с соплеменниками, не располагая возможностями для реальной военной помощи.

В армии всегда существовал кульп «настоящего» генерала, располагавшего благодаря этому неограниченным доверием своих подчиненных. «Кавказские войска с восторгом узнали о назначении главою их Ермолова, героя Бородина и Кульма, любимца народной молвы, стяжавшего себе громкую славу и качествами опытного и талантливого вождя, обходимого официальными реляциями, но популярнейшего в войсках, и своей неподкупной честностью и своей истинно русской душой, и меткими злыми остротами над господствовавшими тогда всюду в России „немцами”, народное нерасположение к которым усилилось недавней народной войной 1812 года. Даже в блестящей плеяде деятелей того недавнего прошлого нашей народной и государственной жизни Ермолов принадлежит к числу тех немногих, на которых во все грядущие века с удивленным вниманием и глубоким сочувствием остановится взор всякого русского, кому дорога русская национальная слава».⁸

Восторг кавказских полков понять легко, памятая о том, что его предшественником был 62-летний Н. Ф. Ртищев, который за свое пятилетнее правление (1811–1816) не понял специфики края и часто попадал в нелепые ситуации, пытаясь внедрить свою систему в отношениях с горцами: подарки, подкуп и «человеческое обхождение». Войска были угнетены бездействием и фактическим запрещением наносить ответные удары. Такие боевые генералы, как И. П. Дельпоццо, П. С. Котляревский, Г. Д. Орбелиани и Д. Т. Лисаневич, делали свое дело фактически на свой страх и риск. Явный крах «мирной» политики Ртищева стал весьма выгодным фоном для деятельности Ермолова.

Формированию мифа о Ермолове — покорителе Кавказа способствовала своеобразная ностальгия кавказских солдат и офицеров по тем временам, когда их походы имели видимый конечный результат: горцы терпели одно поражение за другим, и часто при одном появлении русских войск изъявляли покорность. Это было представление о своеобразном «золотом веке». На формирование имиджа Ермолова работала и динамика боевых потерь. В 1801–1817 гг. Кавказский корпус потерял убитыми 1738 нижних чинов, что составляло в среднем по 102 человека в год. Пассивность войск при его предшественнике Ртищеве отразилась на потерях: за пять лет (1811–1817) было убито 86 солдат (по 17 в год). За восемь лет активных боевых действий (1818–1825) погибло 1208 солдат (151 в год). Несмотря на ощутимое увеличение потерь, они психологически легче переносились войсками, поскольку был видимый результат — покорение горцев (тогда еще не знали, что оно временное). В 1830–1840 гг. ежегодные потери Кавказского корпуса вдвое превысили показатели «ермоловского» времени (350 убитых нижних чинов)⁹ и в глазах многих были бесплодными: покорение горцев по-прежнему выглядело весьма далеким.

Отсутствие понимания того, почему в лесах Чечни и в горах Дагестана в 1830-е гг. стала буксовать такая мощная военная машина, как русская армия, порождало обвинения военачальников в беспаланности. Тема бездарных генералов, «слов, руководивших львами», которые погубили тысячи храбрых солдат и офицеров, — одна из любимых в военной устной традиции, в ее письменном варианте — мемуаристике, а также в исторической литературе всех уровней — от ангажированной публицистики до серьезных академических сочинений. Это — следствие естественного стремления придавать любой абстракции (победа, поражение) узнаваемое человеческое лицо. Поиск «козла отпущения» успешно заменял трудный анализ действительных причин неудачи.

В России это явление усиливалось вследствие заметного уже в начале XIX столетия противостояния государства и общества: ограниченное в правах общество напрочь отказывалось признавать свою ответственность за что-либо. При этом наблюдалось интересное явление: люди, сами имевшие классные чины и составлявшие административный аппарат, себя считали «обществом» и критиковали «государство» прежде всего в образе вышестоящего начальства генеральского ранга. Генералы-строевики в свою очередь не упускали случая побранить «государство» в лице высших должностных лиц в военном ведомстве. В этой ситуации под огнем критики оказывался каждый, принимающий ответственное решение, и, чем значительнее это решение было, тем жестче и пристрастнее становились оценки. На войне же полководец обречен на ответственность, поскольку активность противника превращает в поступок даже его полное бездействие.

Военачальники оказывались в западне европейской схемы приобретения знания, основанной на аккумуляции и творческой обработке опыта предшествующих поколений. Не случайно становым хребтом науки, именуемой «военным искусством», является история вооруженных конфликтов, топонимы Фермопилы и Канны стали военными терминами. Всегда и везде готовились к войне будущей, но учились воевать в войне минувшей. Если условия боевых действий резко изменялись (революционные изменения в технике, принципиально иные природные условия, «необычный» противник и т. д.), генеральский опыт оказывался никчемным, распоряжения — нелепыми, а их последствия — трагичными. В такой ситуации недостаточно было адекватно оценить ситуацию, надо было найти в себе силы на слом собственных стереотипов, научить и заставить подчиненных действовать по-новому, найти ответы на ранее неслыханные вопросы. Военным гениям это удавалось, но обвинение в отсутствии гениальности абсурдно само по себе.

Официальная историография, адекватно оценивая статус Ермолова в общественном сознании, сочла полезным представить всячески юю возвышаемого Барятинского его «наследником». Соединение этих двух имен можно рассматривать как своеобразный мостик между двумя либеральными «александровскими» эпохами. Все главнокомандующие на Кавказе от И. Ф. Паскевича до Н. Н. Муравьева-Карского были «николаевскими» и расплачивались за то, что служили «душителю свободы».

Жертвой симпатий историков и мемуаристов к «проконсулу» стал не только И. Ф. Паскевич, представляемый как соучастник свержения Ермолова, но даже граф И. В. Гудович (главнокомандующий на Кавказе в 1790–1796 и 1806–1809 гг.), поскольку Ермолов называл П. И. Цицианова своим единомышленником, строителем фундамента русского господства на Кавказе, а графа (недруга Цицианова) — «гордейшим из всех скотов».¹⁰ Если Гудович действительно не отличился большими воинскими успехами (хотя взял Анапу в 1789 г.), то Паскевич действительно выиграл войну с Персией, причем в очень сложных условиях. Подверглись в 1828–1829 гг. в Закавказье разгрому и турецкие войска. Но либеральная историография не могла простить этому человеку участие в суде над декабристами, подавление восстания в Польше 1831 г., поход против восставших венгров в 1849 г.

Кавказ во многом повторял Российскую империю «в миниатюре». Подобно тому как тысячи верст, отделявшие Тифлис от Петербурга, определяли особые формы отношения наместников с центральными учреждениями и верховной властью России, отсутствие круглогодичной, надежной и безопасной связи между Тифлисом и другими

административными центрами края, предполагало большую независимость и фактическую бесконтрольность местных начальников. При неопределенности законодательной базы, специфической системе налогообложения, при сохранении традиций произвала власти предержащих это способствовало их превращению в местных князьков с почти неизбежными злоупотреблениями властью. Были такие князьки до Ермолова, при нем и после него.

При оценке деятельности главнокомандующих на Кавказе следует учитывать то обстоятельство, что они не занимались рутинной управленческой работой, формальными инспекциями расквартированных там войск и не участвовали в протокольных дипломатических мероприятиях. На их плечи легла колоссальная нагрузка по административному обустройству огромной имперской окраины, руководство боевыми действиями в сложнейших условиях и принятие решений, способных оказать огромное влияние на развитие отношений России с сопредельными государствами и Европой. В результате даже правление таких даровитых людей, как Цицианов, Ермолов, Паскевич, Воронцов и Барятинский, отмечено разного рода конфузами. Если же первым лицом оказался человек, не способный выйти за рамки стереотипов своего времени, то в истории Кавказа он оставался как неудачник (Гудович, Розен, Нейдгардт, Головин).

Усилиями отечественной историографии Ермолов вырисован едва ли не единственным светлым пятном на тусклом фоне прочих кавказских главнокомандующих. Ермолов не потерпел в Кавказско-горской войне ни одной серьезной неудачи, ушел непобежденным. Можно сказать, Николай I стал невольным соавтором его взвеличивания. Худшим наказанием для генерала-фронтёра могло стать продолжение службы на Кавказе с неизбежной жатвой того, что он сам там поселял. Ермолов силой своего обаяния, за счет своих действительных талантов и заслуг преодолел тот порог, за которым человеку прощаются любые грехи, а неудачи переводятся в разряд успехов. Он пролонгировал сладкое чувство победы 1812–1814 гг. своими викториями на Кавказе. Он сумел до самой своей кончины, не занимая никаких видных государственных постов, сохранить представление о себе как о человеке значительном, его мнением дорожили, похвалы жаждали, а порицания боялись. Визиты к Ермолову считались едва ли не обязательными для всех, кто ехал на Кавказ. Отставного «проконсула» навещали А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов, будущий военный министр Д. А. Милютин, десятки офицеров, продолжавших его дело. Шамиль, привезенный в 1860 г. после пленения в Москву, свой первый визит нанес Ермолову. После смерти генерала сохранению славы покорителя Кавказа стали служить его мемуарные «Записки», представляющие собой ценнейший исторический источник.

История знает немало примеров того, как некая персона усилиями биографов, уступающих напору общественного мнения, симпатизирующего ей, вбирает в себя черты нескольких людей, абсорбирует их поступки, слова и т. д. Люди, совершившие не менее значимые поступки, оказываются в глубокой тени такого баловня историографии. Промахи героя затушевываются, а удачи представляются по меньшей мере во всем их величии. Формирование исторического образа Ермолова вполне может быть включено в число таких примеров.

Трактовка и оценка действий А. П. Ермолова на посту главнокомандующего в 1816–1826 гг. является составной частью общей историографии присоединения Кавказа, испытавшей на себе огромное давление со стороны доминировавших в разные времена идеологических схем.

Предложенное читателям эссе вовсе не является попыткой «развенчать» героя. Действительные великие заслуги А. П. Ермолова перед Россией не подлежат ревизии. Речь идет о своеобразной трансформации образа этого человека, об искажении образов его предшественников и преемников, об элементах агиографии в изображении деятельности и личности реально существовавшей фигуры, о процессе создания во многом фантастического портрета А. П. Ермолова и приобретения им статуса покорителя Кавказа. Данная статья — «развернутый вопрос» о механизмах и причинах формирования мифических изображений прошлого.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. подробнее: Лапин В. В. К вопросу о хронологических рамках Кавказской войны XVIII–XIX вв. // Страницы Российской истории: Проблемы, события, люди: Сб. статей в честь Бориса Васильевича Ананьича. СПб., 2003. С. 94–100

² Щербатов А. С. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич: Его жизнь и деятельность. СПб., 1890. Т. 2. С. 66, 97–98, 113, 137–139.

³ Гржегоржевский И. А. Генерал-лейтенант Клюки-фон-Клюгенау: Очерк военных действий и событий на Кавказе. 1818–1850 // Русская старина. 1874. Т. 11. С. 140.

⁴ См.: Гордин Я. А. Кавказ: земля и кровь: Россия в Кавказской войне XIX века. СПб., 2000. С. 86.

⁵ Акты Кавказской Археографической Комиссии. Тифлис, 1874. Т. 6. Ч. 2. С. 250.

⁶ Блиев М. М. Россия и горцы Большого Кавказа на пути к цивилизации. М., 2004. С. 154.

⁷ Там же. С. 137.

⁸ Потто В. А. Кавказская война. М., 1996. Т. 2. С. 7.

⁹ Подсчитано по: Гизетти А. Л. Сборник сведений о потерях Кавказских войск во времена войн Кавказско-горской, персидских, турецких и в Закаспийском крае. 1801–1885 гг. Тифлис, 1901.

¹⁰ Гордин Я. А. Кавказ: земля и кровь. С. 68.

Б. И. Колоницкий

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ В ОСКОРБЛЕНИЯХ И СЛУХАХ ЭПОХИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В годы Первой мировой войны все большую роль стали играть слухи. Житель российской столицы уже в августе 1914 г. записал в своем дневнике: «В такие минуты люди должны питать свое воображение хоть какими-нибудь фактами, и, не имея сведений, они сами измышляют всякий вздор, который, переходя из уст в уста, достигает геркулесовых столпов глупости. За последние дни петербургская мольва повесила нескольких командиров армий, расстреляла нескольких командиров дивизий, бригад и полков и умертвила всех командиров гвардии, плодя опасные в это время страхи».¹

Военный цензор в Финляндии отмечал в 1916 г.: «Октябрь текущего года может быть назван месяцем слухов. Никогда еще за два года войны эти „слухи“ не были

распространяемы в печати и обществе в таких огромных размерах и разнообразных вариациях, как в последнее время. Девяносто процентов общественных разговоров начинаются фразами „Вы слышали?”, „Вы знаете?!” ... Далее следует передача какой-либо фантазии на тему из так называемых злоб дня в новой редакции и с новыми прибавлениями».²

Среди фантастических слухов этой эпохи можно, например, упомянуть слух о прибытии войск Японии на Восточный фронт. Генерал Н. Н. Головин в своем исследовании цитирует письмо командира лейб-гвардии Гренадерского полка, посвященное коллективным «видениям» и слухам военного времени: «Армия, насколько мы можем судить, ожидает какого-то события, которое должно повернуть войну в нашу пользу. Один слух, якобы самый достоверный, сменяется другим. По последней версии к нам перевозится японская армия, и тогда война решится одним ударом. Многие уже видели японцев в тылу. Массовая галлюцинация».³ Действительно, в своих письмах российские военнослужащие сообщали о прибытии азиатских союзников: «К нам пришли японские артиллеристы с орудиями, вес снарядов коих до 35 пудов».⁴

Но гораздо большее значение имели «политические» слухи. Власти это прекрасно осознавали еще до войны. Администрация и полиция внимательно следили за распространением слухов. Циркуляр министра внутренних дел от 11 ноября 1911 г. предписывал губернаторам «обязательно и своевременно» доставлять сведения о настроении различных групп населения, при этом, в частности, требовалось указывать «волновавшие крестьянские массы» «ложные и неосновательные слухи». Показательно, что в перечне данных, характеризующих настроение рабочих и «интеллигентных слоев общества», упоминание слухов отсутствует. Возможно, в это время чиновники МВД считали слухи чем-то архаичным, присущим в основном деревне. Слова «слухи», «неосновательные слухи», «извращенные толки», «вздорные, возбуждающие и злонамеренные слухи» нередко появлялись в жандармских донесениях и губернаторских отчетах эпохи Первой мировой войны. С другой стороны, и Департамент полиции запрашивал губернские власти, требуя подтверждения (или опровержения) информации о слухах на местах, которая поступала в Петроград. Уже 31 июля 1914 г. министр внутренних дел Н. А. Маклаков отмечал в своем циркуляре: «Время войны есть время особой возбудимости и нервности населения, лишенного правдивого осведомления о текущих событиях и потому легко воспринимающего всякие слухи, чем и пользуются злонамеренные лица». Указывалось на серьезное воздействие различных слухов на поведение сельских жителей. Под влиянием слухов, например, крестьяне уклонялись от платежа по-винностей и арендных денег за землю.⁵

Борьба со слухами была одной из важных задач, которые ставились перед местными властями министерством. За распространение «ложных слухов о войне» в административном порядке подвергали аресту при полиции.⁶

Но в годы войны власти столкнулись и с множеством слухов, распространявшихся в «интеллигентных слоях». В отчете Охранного отделения за ноябрь 1916 г. отмечалось: «Слухи заполнили собою обывательскую жизнь: им верят больше, чем газетам, которые по цензурным условиям не могут открыть всей правды. ... Общество ... жаждет вести разговоры на “политические” темы, но не имеет никакого материала для подобных бесед. Всякий, кому не лень, распространяет слухи о войне, мире, германских интригах и пр. Не видно конца всем этим слухам, которыми живет изо дня в день столица».⁷

Известный исследователь истории войны и революции генерал Н. Н. Головин, характеризуя общественные настроения того времени, впоследствии писал: «Все эти сложные слухи являлись одним из характернейших симптомов того патологического состояния общественной психики, первой причиной которого являлись тяжелые жертвы и напряжение, вызванное войной. Социологу, пожелавшему понять назревание Русской революции, приходится обратить большое внимание на ту роль, которую сыграли эти слухи. Ложные сами по себе, они, тем не менее, широко воспринимались благодаря создавшейся атмосфере всеобщего разочарования и неудовольствия, и вместе с этим способствовали еще большему нарастанию этих настроений, так как в корне подрывали моральный авторитет Царской власти. В результате Государь оказался морально изолированным».⁸

Задача изучения слухов историками в целом до сих пор не реализована. В многочисленных исследованиях, посвященных политической истории Первой мировой войны, слухи нередко упоминаются, но лишь как некий фон для действий основных участников политического процесса. Предметом самостоятельного изучения они еще не стали.

Это связано не только с недооценкой темы многими историками. Изучение слухов представляет сложную исследовательскую проблему. Трудности ее решения связаны как с выбором адекватных источников, так и с их обработкой и интерпретацией. Ниже мы попытались рассмотреть слухи о великом князе Николае Николаевиче, который был назначен Верховным главнокомандующим 20 июля 1914 г. Главным источником служат дела по оскорблению членов императорской фамилии.

Было изучено 1216 случаев оскорблений различных членов императорской семьи в 1914–1916 гг. В данной группе присутствуют оскорблания четырех членов императорской семьи. Прежде всего это сам император (1025 случаев), великий князь Николай Николаевич и вдовствующая императрица Мария Федоровна (соответственно 68 и 65). Далее следует императрица Александра Федоровна (37 случаев). К подсчетам следует подходить весьма осторожно. Но показательно, что в 1914 г. вдовствующую императрицу оскорбляли чаще, чем дядю царя, а в 1915 и 1916 гг. Николай Николаевич «обогняет» Марию Федоровну.

Использовались не только те дела, где оскорблялся Николай Николаевич, но и те, где он упоминался. Дядя императора предстает в некоторых слухах как положительный персонаж, как строгий, но справедливый воитель и правитель. Он противопоставлялся бездейственному и неспособному царствующему племяннику.

В марте 1915 г. 28-летний крестьянин Томской губернии в пьяном состоянии обратился на улице к односельчанам, сопровождая почти каждое слово площадной бранью: «У нас ГОСУДАРЬ и правительство спят, только старается один НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Если бы меня взяли на войну, я там бы все перевернул — все законы, ЦАРЯ и ЦАРЯТ». Пьяным был и 49-летний астраханский мещанин, который в мае того же года заявил в парикмахерской: «НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ у вас строгий, а ЦАРЬ ... (непристойное слово)». Но те же мысли высказывались и трезвыми людьми. Неграмотный 44-летний крестьянин Самарской губернии, привлеченный к ответственности за оскорбление императора, признавал: «Николаю Николаевичу, может быть, доверяют, но ГОСУДАРИЮ никто не доверяет. Он баба, даже хуже бабы». 57-летний донской казак в июне 1915 г. говорил: «Наш ГОСУДАРЬ глупого рассудка и если бы не было НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, то война давно уже была бы проиграна». О том же в октябре

1915 г. говорил и 43-летний оренбургский казак: «... (брань) наш ГОСУДАРЬ слабо правит государством. Зачем Сам на войну пошел? Не могли избрать из Великих князей. Спасибо НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ: если бы не ОН, то германец пробрался бы в Россию». Крестьянин Тобольской губернии заявил в июле 1915 г.: «Нужно молиться за воинов и великого князя Николая Николаевича. За Государя же чего молиться. Он снарядов не запас, видно прогулял да проб...чал». В слухе, относящемся к тому же месяцу, дядя царя даже карает предателя-племянника: «Государь Император продал Перемышль за 13 миллионов рублей и за это Верховный главнокомандующий Великий князь Николай Николаевич разжаловал царя в рядовые солдаты». Показательно, что обвиняемый, наделявший в своем воображении Верховного главнокомандующего такой властью, признал себя виновным.⁹

В других оскорблениях с могущественным великим князем связываются надежды на наказание императрицы-изменницы. В июне 1915 г. 46-летний неграмотный воронежский крестьянин сказал односельчанам: «Говорят, наша Государыня передает письма германцам. Если бы я был на месте НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, я бы ей голову срубил (брань)».¹⁰

Даже в 1916 г., несмотря на тяжелые поражения прошлого года, встречаются высокие оценки полководческого мастерства великого князя. В одном доносе указывалось, что начальник разъезда Омской железной дороги в апреле сказал подчиненным: «Таким Главнокомандующим, как Николай II, дураком Николашкой, дела не поправятся; сюда, на этот фронт нужно Великого Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА».¹¹

Люди приобретали портреты популярного великого князя и вешали их в своих домах. Иногда затем эти портреты создавали повод для оскорбления военачальника и последующего возбуждения уголовного дела: «Дурака повесил к образам Ему место за порогом».¹²

Косвенным свидетельством популярности Верховного главнокомандующего в русской среде служат факты привлечения за его оскорбление подданных враждебных держав, оказавшихся в России.¹³ Очевидно, для них Николай Николаевич олицетворял военные усилия противника. Можно предположить, что русские доносчики отождествляли себя с популярным военачальником и были особенно возмущены оскорблением в его адрес.

Положительное отношение к Верховному главнокомандующему подтверждается и другими источниками. Уже в ноябре 1914 г. современники фиксируют появление анекдотов о Николае Николаевиче — быстрого в расправе, жестокого, но справедливого.¹⁴ В слухах он стремительно передвигается по фронту, срывает с виновных офицеров погоны, бьет их по лицу.¹⁵ Иногда он прямо на месте круто расправляется с предателями. Рядовой солдат Р. П. Петровович писал в марте 1915 г.: «Германцы наступали с трех сторон на нашу крепость Осовец, повредили два форта, и крепость уже готова была сдаться, как приехал Верховный главнокомандующий, зарубил шашкой коменданта, начал сам командовать, и немцы не только были отбиты, но было взято в плен два неприятельских корпуса и ... тяжелых орудий». На выписке из письма имеется пометка военного цензора: «Здорово! Вот так пишется история!».¹⁶

В некоторых же слухах чрезмерная жестокость великого князя способствует поражениям российской армии. В июне 1915 г. некий мещанин г. Липа утверждал: «...казнены и многие другие генералы, имена которых станут известны лишь после войны...

Нельзя так жестоко обращаться с генералами — толку не будет... Генералы разозлились и не стали выполнять планов Главнокомандующего... поэтому нас немцы и бьют». ¹⁷

О легендарной суровости полководца писала и дружественная ему печать: «Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич весьма популярен среди наших казаков. В их глазах он является легендарным народным вождем-героем, его правдивость, честность, смелый открытый характер и строгость к нерадивым и изменникам создали целые легенды». ¹⁸

С именем великого князя были связаны и слухи об освобождении от тягостных платежей. Показательно, что они циркулировали даже после его смещения. Тамбовский вице-губернатор сообщал в феврале 1916 г. в Департамент полиции: «... солдаты в письмах сообщали женам, что будто бывший верховный главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич объявлял им, что семьи солдат освобождаются от платежа всех податей за землю; в связи с этим во вверенной мне губернии были попытки к отказу от платежей податей и подстрекательству к неплатежу таковых». ¹⁹

Фигура Верховного главнокомандующего рассматривалась и как подходящая кандидатура на роль «хорошего царя». В феврале 1916 г. нетрезвый 49-летний крестьянин Уфимской губернии заявил односельчанам: «К ... (брань) войну вашу и ЦАРЯ вашего; не ему, а НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ нужно быть царем». ²⁰

Упоминания о таком отношении к дяде царя мы встречаем и в другом источнике. Описывая настроения участников антинемецкого погрома в Москве в мае 1915 г., французский посол записал в своем дневнике: «На знаменитой Красной площади ... толпа бранила царских особ, требуя пострижения императрицы в монахини, отречения императора, передачи престола великому князю Николаю Николаевичу, повешения Распутина и проч.». ²¹

Носители такого сознания явно были патриотами и своеобразными монархистами. Но великий князь иногда был и положительным персонажем некоторых «республиканских» слухов. После смещения великого князя с поста Верховного главнокомандующего появились слухи о его казни. Так, в начале 1916 г. двое ссыльных в Сибири говорили односельчанам, что «был один хороший человек — это вел. кн. Николай Николаевич, да его наш кровосос государь повесил, так как он стоял за правду, и в России только тогда будет хорошо жить, когда не будет царя, как в Америке». ²²

Однако Николай Николаевич предстает во многих слухах и как отрицательный персонаж. Прежде всего это касается тех дел, где в качестве «фигурантов» выступали «инородцы». А именно они нередко привлекались к ответственности за оскорбление великого князя. Так, нам известно 54 случая оскорблений великого князя в 1915 г. В 13 случаях к ответственности привлекались немцы (преимущественно русские подданные, а также военные и гражданские пленные), в 10 случаях — евреи. В то же время известно 4 случая оскорблений Николая Николаевича в 1914 г., но ни немцы, ни евреи не привлекались в качестве обвиняемых.

Это объяснимо. Депортации еврейского и немецкого населения, производимые в 1915 г. по инициативе Ставки Верховного главнокомандующего, не могли прибавить великому князю популярности в этих этнических группах.

Правда, в некоторых случаях явно имели место оговоры. Можно предположить, что жертвой ложного доноса стал и 68-летний Г. В. Нейгауз, преподаватель музыки. Он приехал в Россию из Германии еще в 1870 г., был женат на русской подданной, его сын

находился во время войны в действующей армии. Сам Нейгауз подал прошение о переходе в русское подданство. Квартирная хозяйка донесла на него властям, она показала, что при чтении газет ее постоялец порицал русское высшее военное командование, называя великого князя Николая Николаевича «большой свиньей». Но домашняя прислуга утверждала, что она не слышала этих слов. Она также рассказала, что Нейгауз неоднократно делал замечания по поводу неряшливости и плохого приготовления обедов в доме. Хозяйка приписывала его влиянию уход других нахлебников. Тогда, по словам прислуги, она решила отомстить: «Ей все поверят, а ему нет, т. к. он немец».²³

Очевидно, с помощью ложного доноса разрешались и иные конфликты. Однако для изучения слухов важны и оговоры. Доносители желали, чтобы судебные и полицейские власти поверили в саму возможность существования такой редакции оскорблений. Возможно, они приписывали обвиняемым слова, услышанные в другой ситуации.

Обвиняемым приписывались следующие слова: Николай Николаевич «только пьянствует, разбойничает и вешает мирных евреев».²⁴ Он описывается как главный «поджигатель войны»: «Это неправда, что немцы режут наших пленных. Сам Николай Николаевич режет наших солдат».²⁵

Великий князь считается главным виновником войны.

58-летняя еврейка и ее дочь говорили о Верховном главнокомандующем: «Из-за него одного столько народа пропадает». 63-летний еврей так отреагировал на слух о том, что в Петрограде сгорел дворец Николая Николаевича: «Лучше бы было, если бы Великий Князь сгорел с душою и телом. Скорей бы конец войны был». 51-летней еврейке приписывали слова, сказанные русскому крестьянину: «Наше дело пропащее, — дали власть НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ, сидит Он там, старый черт, только народ кладет». Ее сверстница, жившая в другом городе, также считала великого князя виновником войны, она заявила знакомым, купившим его портрет: «Что вам НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, вы и без Него можете обойтись, кабы не Он и войны бы у нас не было. Он самый бунтовщик». 76-летней еврейке приписывали такие слова: «Да, Главнокомандующий хороший человек, только Бог смерти Ему не дает. Если бы Сам Государь воевал, то давно был бы мир, а этот только знает воевать, да людей убивать».²⁶

Последние слова весьма показательны: миролюбивый император противопоставляется свирепому дяде-военачальнику. Можно предположить, что оскорбительница продолжала сохранять известное уважение к царю.

О том же говорил уже в январе и 44-летний немец, поселянин Самарской губернии: «ГОСУДАРЬ хочет мира, а НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ не хочет, за это Его давно следовало бы убить... (площадная брань)». Аналогичные слова приписывались и 37-летнему поселянину-немцу той же губернии: «Великого Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА надо убить — так как ваш ГОСУДАРЬ давно бы помирился, а он мучает народ». О том же говорил и 61-летний немец, крестьянин Бессарабской губернии: «Это не виноват ГОСУДАРЬ, что война, а виноват ЕГО ГОСУДАРЯ ДЯДЯ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Когда немец просил мира, так НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ не хотел, а теперь пускай поцелует его в задницу... (брань)». 30-летней немке, русской потомственной дворянке, приписывались такие слова: «Этого мерзавца Великого Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА следовало бы застрелить, или отравить, и война кончилась бы». Поселянка же Таврической губернии, 41-летняя немка была настроена критично по отношению к императору, в то же время она, говоря о великом князе, утверждала:

«ГОСУДАРЬ ничего не знает, это тот седой черт наставляет». 20-летний немец, поселянин Бессарабской губернии, призванный в армию, сказал при свидетелях: «Через эту сволочь... (брань) пропадает много народа и я должен идти на войну».²⁷

Все высказывания относятся к весне–лету 1915 г. Но и в некоторых оскорблениях русских крестьян этого времени Николай Николаевич порой предстает как циничный «поджигатель войны». Солдатка, крестьянка Владимирской губернии заявила уже в апреле 1915 г. крестьянам, ждавшим газет: «А вы верите, что вам напишет пастух Николай Николаевич. Сам он на войне не бывает, а только пьянистует, войска своего не видит, посыпает туда наших мужей, да бьет их». 56-летний крестьянин Пермской губернии в июне 1915 г. говорил односельчанам: «...(площадная брань) нашего главнокомандующего НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, давно бы его, пса, надо убить, сколько он народа сварил без толка. Наш ГОСУДАРЬ худая баба, не может оправдать Россию, сколько напустил немцев». Крестьянка Самарской губернии после последней панихиды, совершенной по убитому мужу в августе 1915 г., сказала священнику, что наших бьют на войне по вине великого князя Николая Николаевича, которому «все равно, так как он нанят». В июле 1915 г. 54-летний крестьянин заявлял: «Надо Николая Николаевича расстрелять, так как он затягивает войну. Если бы не он, то Государь давно бы мир заключил».²⁸

В народных суждениях под вопрос ставится и полководческое мастерство великого князя. Одному фронтовику приписывались такие слова: «А ... ли такой Главнокомандующий НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Он сидит верст за 30–40 от передовых позиций в бараках и пьет шампанское; побывал бы Он на передовых позициях, узнал бы тогда, что там делается; а мы за них проливаем кровь; счастье Его, что закрыты казенки, а то бы солдату была первая чарка, а Ему первая палка от солдата».²⁹

Весьма вероятно, что в данном случае имел место оговор (у доносителя и обвиняемого был имущественный конфликт). Но такой образ великого князя, некомпетентного военачальника, ведущего аморальный образ жизни, создается и в других слухах. Известен и еще один случай, когда крестьяне доносили на односельчанина-солдата, которому приписывались критические высказывания в адрес Верховного главнокомандующего.³⁰

И в крестьянской среде критика носила оттенок ксенофобии. 15 августа 1915 г. 38-летний ярославский крестьянин заявил в трактире: «Верховный Главнокомандующий наш Великий Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ неправильно ведет войну; Он из евреев, боится немцев и находится в их руках; ГОСУДАРЫНИ наши также из евреев». Свидетели описали обвиняемого как человека ненормального, болтуна и хвастуна, страдающего расстройством умственных способностей. Это, однако, не помешало дознавателям избрать мерой пресечения арест, примерно месяц обвиняемый провел под стражей.³¹ После 23 августа 1915 г., когда император принял на себя звание Верховного главнокомандующего, а великий князь был назначен наместником царя на Кавказе и главнокомандующим Кавказской армией, самые невероятные слухи о Николае Николаевиче стали распространяться с новой силой.

Так, 62-летнему неграмотному крестьянину Харьковской губернии приписывали следующие слова: «Там НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ воюет так, что бодай Его черт воевать. Он вместе с матерью ГОСУДАРЯ за германцев стоит. Вот теперь ГОСУДАРЬ сам и стал командовать, НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА сослал на Кавказ. Мать же ГОСУДАРЯ ... (брань) еще в церквях поминают». Правда, сам обвиняемый это отрицал. Он де только передал слух со слов какого-то солдата, будто великий князь и вдовствующая

императрица поддерживают немцев.³² Интересно, что в этом слухе Николай II предстает как положительный персонаж.

Появляется и слух о взяточничестве, иногда он связывается с предательством: «Верховный Главнокомандующий Великий Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ взял миллион и уехал домой»; «Николай Николаевич продал пол-России»; «Колька продал немцам три тысячи солдат» (речь шла о Николае Николаевиче); «Один край обобрал, а теперь поехал на другой фронт обирать и там».³³ Интересно, что в некоторых оскорблении использовались одни и те же выражения. 50-летний житель г. Верного так прокомментировал перевод великого князя на Кавказ: ««Обобрал германцев (взял с них взятку), а потом поехал на турецкий фронт, где оберет, и уедет за границу, как Стессель».³⁴ Николай Николаевич сравнивался с комендантом Порт-Артура, которого общественное мнение считало предателем.

Другая грань образа великого князя — пьяница и развратник, забывший служебный долг. 20-летней крестьянке приписывали такие слова: «ОН, мерзавец, прогулял с ... Варшаву, за что ЕГО перевели на Кавказский фронт, и опять ОН мерзавец».³⁵ 25-летний грузин оправдывал пьянство своего знакомого: «Мало ли кто бывает пьяным. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ во время боя напивался и валялся в канаве».³⁶

Некоторые слухи соединяли образы предателя и развратника. Протодиакону из Караги приписывали слова о том, что во время войны великий князь «...пьянировал и развраталичал с графиней Потоцкой, вследствие чего отдал немцам Варшаву и всю Польшу...».³⁷

Правда, первые слухи об измене Верховного главнокомандующего зафиксированы уже осенью 1914 г. Некий волостной писарь и его помощник рассказывали крестьянам в волостном правлении, что Николай Николаевич де «сделал измену» и продал Варшаву за 16 пудов золота, но один солдат на него донес, и великого князя будут судить. На следствии помощник волостного писаря ссылался на своего начальника. Тот же признал свою вину, но указал, что сведения эти ему сообщила жена учителя.³⁸ Мы не знаем точно, каков был путь распространения этого слуха, но показательно, что на следствии обвиняемые выстраивали цепочку ссылок на более авторитетного и интеллигентного информанта.

Слухи о «пудах золота» появлялись и потом. Пьяный тамбовский торговец убеждал посетителей трактира в ночь на 1 января 1916 г., что «бывший Верховный Главнокомандующий Великий Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ продал Карпаты и Россию за бочку золота и теперь война проиграна».³⁹

В том же году зафиксированы и слухи, в которых дядя императора обвиняется наряду с императором. Пьяный 17-летний служитель при банях говорил на московской улице: «ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II ... (брань), не воюет, а только карман набивает, так же как и НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, прогнанный на Кавказский фронт, ничего не делал... (брань)». А 27-летний крестьянин Тамбовской губернии заявил инвалиду войны: «Вас бы всех нужно было перевешать, а в первую голову ЦАРЯ Николашку ... (ругательство) и другого вояку, командующего Николашку, за то, что продали Россию».⁴⁰ Показательно, что в предшествующие годы мы такого соединения не встречали. Напротив, как уже отмечалось, царь и великий князь противопоставлялись друг другу.

Многие современники и историки полагали, что антидинастические слухи распространялись «сверху вниз»: их генерировали образованные социальные верхи, «общество». Затем слухи, меняясь, адаптируясь, воспринимались «массами», «народом». Хорошо

информированный жандармский генерал А. И. Спиридович вспоминал: «...что тогда „говорили“ в столице, что передавалось в провинцию и что, с другими слухами и сплетнями, подготовило в конце концов необходимую для революции атмосферу... Здесь все упрощалось, делалось более понятным, вульгарным, скверным».⁴¹

Современник событий и известный историк революции С. П. Мельгунов также писал об ответственности образованной элиты, фабриковавшей домыслы: «И если то, что „говорили шепотом, на ухо, стало общим криком всего народа и перешло ... на улицу.., то в этом повинно само общество. Оно само революционизировало народ, подчас не останавливаясь перед прямой, а иногда и довольно грубой демагогией».⁴² Нельзя, впрочем, не отметить, что историк в свое время сам способствовал распространению антидинастических слухов.

Между тем генерал Н. Н. Головин указывал и на другое возможное движение слухов. Он писал в своем исследовании: «В многомиллионной солдатской массе росли слухи об измене. Эти слухи становились все сильнее и сильнее и проникали даже в среду более интеллигентных лиц. Причиной, дающей особую силу этим слухам, являлось то обстоятельство, что происшедшая катастрофа в боевом снабжении как бы оправдывала те мрачные предположения, которые нашли сильное распространение еще в конце 1914 г.».⁴³

Изучение дел по оскорблению императорской фамилии позволяет утверждать, что в народной среде распространялись такие слухи, которые редко встречаются в переписке и дневниках современников. Это, в частности, относилось и к слухам о великом князе Николае Николаевиче.

Современный историк И. К. Кирьянов характеризует оскорблений императора как «антицаристские высказывания». О. С. Поршнева считает, что дела по привлечению к ответственности за оскорблений членов императорской фамилии дают материал, характеризующий антицаристские и антиправительственные настроения народных низов.⁴⁴

Действительно, ряд лиц, обвинявшихся за оскорблений царя, были противниками монархии. Иногда они прямо заявляли о себе как о сторонниках республиканского образа правления. Но во многих случаях можно определенно утверждать, что изучаемый источник, скорее, говорит о сохранении монархического сознания среди лиц, привлекавшихся за оскорблений членов царской семьи. Сам жанр доноса (в том числе и оговора) предполагал наличие такого сознания. Возможно, доносители не всегда были искренними монархистами, но они представляли себя таковыми. К тому же «плохим» членам императорской семьи противопоставлялись «хорошие». В разных слухах они выступали в разном качестве. Напомним, что в некоторых случаях «хороший» император противопоставлялся Николаю Николаевичу.

В некоторых случаях прямо указывалось, что Николай II не соответствовал образу идеального ЦАРЯ. Поэтому он должен быть заменен более достойным кандидатом (в одних случаях желательным царем считался великий князь Николай Николаевич, в других — Михаил Александрович).

Но дела по оскорблению царской семьи важны в ином отношении. Они позволяют точнее описать ситуацию политической изоляции Николая II. В условиях войны даже люди консервативных взглядов, носители разных типов монархического сознания переставали быть прочной опорой режима. «Царь-дурак» не соответствовал их патриархальному идеалу могучего, мудрого и справедливого государя.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Врангель Н. Н., бар. Дни скорби. Дневник 1914–1915 годов. СПб., 2001. С. 43.
- ² Kansallisarkisto (Helsinki). Русские военные бумаги, № 17230: Особая финляндская военно-цензурная комиссия. Гельсингфорсский военно-цензурный пункт. Рапорты и отчеты.
- ³ Головин Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Жуковский; М., 2001. С. 311.
- ⁴ РГА ВМФ. Ф. 1340. Оп. 1. Д. 763. Л. 106. Ходили слухи и о том, что русскими войсками, сражающимися под Либавой, командовал японский генерал (Там же. Л. 113).
- ⁵ Крестьянское движение в России в годы Первой мировой войны (июль 1914 г.–февраль 1917 г.): Сб. документов / Ред. А. М. Анфимов. М.; Л., 1965. С. 21, 44, 231, 260, 336, 343, 431.
- ⁶ РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 201 об., 202.
- ⁷ Буржуазия накануне Февральской революции / Подгот. Б. Б. Граве. М.; Л., 1927. С. 125–126.
- ⁸ Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. Ч. 1: Зарождение контрреволюции и первая ее вспышка. Таллин, 1937. Кн. 1. С. 15, 24.
- ⁹ РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 53 об., 223–223 об., 319 об., 321 об., 420 об.–421, 530.
- ¹⁰ Там же. Л. 310.
- ¹¹ Там же. Л. 357 об.–358.
- ¹² Там же. Л. 246, 258 об.–259.
- ¹³ Там же. Л. 172—172 об., 331 об., 372 об., 419 об.–420.
- ¹⁴ Каррик В. Война и революция: Записки, 1914–1917 гг. // Голос минувшего. 1918. № 4–6. С. 9.
- ¹⁵ РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 89.
- ¹⁶ РГА ВМФ. Ф. 1340. Оп. 1. Д. 762. Л. 377а.
- ¹⁷ РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 167 об.
- ¹⁸ Кривощеков А. И. Легенды о войне // Ист. вестник. 1915. Окт. С. 207–209. За публикацию этой заметки на журнал был наложен штраф. Возможно, это было связано с упомянутой оценкой Николая Николаевича, который к этому моменту был заменен на посту Верховного главнокомандующего императором.
- ¹⁹ Крестьянское движение... С. 378–379.
- ²⁰ РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 244.
- ²¹ Палеолог М. Дневник посла. М., 2003. С. 308.
- ²² Крестьянское движение... С. 306.
- ²³ РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 172–172 об.
- ²⁴ Там же. Л. 56 об.
- ²⁵ Там же. Оп. 530. Д. 1035. Л. 21 об.
- ²⁶ Там же. Оп. 521. Д. 476. Л. 73, 141, 222, 246, 268 об.–269.
- ²⁷ Там же. Л. 231, 290, 307 об.–308, 369 об., 371 об., 372, 396 об., 397.
- ²⁸ Там же. Л. 2, 138 об., 146–146 об., 177 об., 178.
- ²⁹ Там же. Л. 210 об.–211.
- ³⁰ Там же. Л. 441–441 об.
- ³¹ Там же. Л. 403 об., 404.
- ³² Там же. Л. 317 об., 318.
- ³³ Там же. Л. 123, 243 об., 518 об.; Оп. 530. Д. 1035. Л. 17 об.
- ³⁴ Там же. Оп. 521. Д. 476. Л. 364 об., 365.
- ³⁵ Там же. Л. 427.
- ³⁶ Там же. Л. 439 об.
- ³⁷ Там же. Л. 204 об., 205.
- ³⁸ Там же. Л. 325.
- ³⁹ Там же. Л. 181.
- ⁴⁰ Там же. Л. 403–403 об.; Оп. 530. Д. 1035. Л. 4 об.
- ⁴¹ Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция, 1914–1917 гг. Нью-Йорк, 1960. Кн.2. С. 123.
- ⁴² Мельгунов С. П. На путях к дворцовому перевороту: (Заговоры перед революцией 1917 года). М., 2003. С. 38.
- ⁴³ Головин Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. С. 309.
- ⁴⁴ Кирьянов И. К. Политическая культура русского крестьянства в период капитализма: (По Уральским материалам) // Общественная и культурная жизнь дореволюционного Урала: Межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 1990. С. 102; Поршинева О. С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период Первой мировой войны (1914–март 1918 г.). Екатеринбург, 2000. С. 71.

B. M. Ковальчук

ЛЮБАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ВОЛХОВСКОГО И ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТОВ

В январе 1942 г. была предпринята операция по прорыву блокады Ленинграда. Она являлась составной частью общего наступления советской армии, которое Ставка Верховного Главнокомандования запланировала для развития успеха, достигнутого в контрнаступлении под Москвой, Ростовом и Тихвином. Войска Ленинградского, Волховского и правого крыла Северо-Западного фронтов при содействии Балтийского флота должны были разгромить группу армий «Север» и снять блокаду Ленинграда. Решающая роль отводилась Волховскому фронту. Сталин, придавая большое значение предстоящим действиям, 29 декабря 1941 г. писал в личной записке командующему Волховским фронтом К. А. Мерецкову: «Уважаемый Кирилл Афанасьевич! Дело, которое поручено Вам, является историческим делом. Освобождение Ленинграда, сами понимаете, великое дело. Я бы хотел, чтобы предстоящее наступление Волховского фронта не разменивалось на мелкие стычки, а вылилось бы в единый мощный удар по врагу. Я не сомневаюсь, что Вы постараетесь превратить это наступление именно в единий и общий удар по врагу, опрокидывающий все расчеты немецких захватчиков. Жму руку и желаю Вам успеха. И. Сталин».¹

Особенностью планируемой Ставкой операции являлось то, что наступление Волховского фронта должно было явиться продолжением контрнаступления, начатого под Тихвином. Однако этого не получилось. Практическое осуществление намеченного Ставкой плана деблокады Ленинграда нашло свое выражение в проведении войсками Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского фронта Любанской наступательной операции с 7 января по 30 апреля 1942 г.

В связи с тяжелым положением Ленинграда, в котором к жертвам артиллерийских обстрелов и бомбардировок с воздуха прибавились жертвы голода и холода, и Ставка, и командование Волховского фронта торопились с наступлением. Однако, как признавал командующий Волховским фронтом К. А. Мерецков, «к назначенному сроку фронт не был готов к наступлению». В 59-й армии прибыли и успели развернуться только пять дивизий, остальные три находились в пути. Во 2-й ударной армии исходные для наступления позиции заняли только немногим более половины соединений, не прибыла армейская артиллерия, не сосредоточилась авиация, не были накоплены боеприпасы, продовольствие и горючее. Фронт по существу не имел своего тыла.²

Причинами медленного сосредоточения войск и техники были и большие растяжки путей подвоза, слабо развитые сети автомобильных и железных дорог, изношенность и недостаток автотранспорта, сильные морозы и снежные заносы, нарушавшие график движения транспорта.

Но Мерецков приказал начать наступление 7 января. Он сделал это даже несмотря на предложение Сталина отложить наступление, если 2-я ударная армия к нему не готова.³

Завязавшиеся бои носили ожесточенный характер. Но наступление успеха не имело. Советские части, встреченные сильным минометным и пулеметным огнем противника,

отошли в исходное положение. К. А. Мерецков вынужден был признать, что «боевые действия показали неудовлетворительную подготовку войск и штабов. Командиры и штабы теряли управление, взаимодействие отсутствовало, атака началась неодновременно и неорганизованно».⁴

Не дало результатов и наступление в начале января войск 54-й армии Ленинградского фронта, которой в это время командовал генерал И. И. Федюнинский. Продвинувшись на 4–5 км, они под нажимом противника отошли в исходное положение. И 10 января командование Волховского фронта с разрешения Ставки приостановило наступление.

Судя по переговорам по прямому проводу Сталина с К. А. Мерецковым, А. И. Запорожцем и Л. З. Мехлисом 10 января, наступление предполагалось возобновить на следующий день, 11 января. «По всем данным у вас не готово дело наступления к 11 числу, — говорил Stalin. — Если это верно, надо отложить еще на один или на два дня... У русских говорится: поспешишь — насмешишь. У вас так и вышло. Попспешили с наступлением, не подготовив его, и насмешили людей. Если помните, я вам предлагал отложить наступление, если ударная армия Г. И. Соколова (2-я ударная армия. — В. К.) не готова. Вы отказались отложить, а теперь пожинаете плоды своей поспешности». Мерецков предложил наступление 2-й ударной, 4-й и 59-й армий начать 12 января, а 52-й армии — 13 января. Stalin согласился с этим предложением, но заметил: «Обдумайте хорошоенько, может быть, отложить еще на день, то есть на 13 с тем, чтобы все армии выступили вместе с 52-й армией. Не нужно хорохориться, а нужно сказать честно — готовы будете к 12 или нет».⁵

Наступление Волховского фронта после полуторачасовой артиллерийской подготовки возобновилось 13 января, хотя за три дня мало что удалось исправить. Войска фронта, имевшие над противником превосходство в людях в 1.5 раза, в орудиях и минометах в 1.6 раза, в самолетах в 1.3 раза,⁶ продолжали уступать ему в обеспечении боеприпасами, всеми видами снабжения. Части 59-й и 2-й ударной армий не имели опыта ведения боевых действий.

Наступление Волховского фронта проходило на местности, покрытой громадными лесными массивами, заболоченность ее из-за обилия малых рек и озер доходила до 60%. Почти полное бездорожье, так как дороги мирного времени были выведены из строя еще осенью 1941 г., глубокий снег сильно затрудняли маневрирование войск. Противник, знавший о предстоящем наступлении советских войск, приготовился к нему и оказывал сильное сопротивление.

Войска 4-й армии (командующий генерал П. А. Иванов), наступавшие в направлении Кириши, Тосно, и 52-й армии (командующий генерал В. Ф. Яковлев), наступавшие в направлении Новгород, Сольцы, уже 14–15 января перешли к обороне. Причиной этого было не только сильное сопротивление противника, но и просчеты командования фронта в подготовке наступления. В войсках ощущался недостаток боеприпасов и продовольствия. В 52-й армии, например, во второй половине января не было хлеба, муки, соли и фуражка. В качестве фуражка были использованы даже соломенные крыши всех домов в ближайших населенных пунктах. Происходил падеж лошадей. Только с 12 по 25 января пало 120 лошадей.⁷

Причиной неудач в действиях 4-й и 52-й армий являлись также недочеты в организации наступления, выразившиеся в равномерном распределении сил на всем фронте наступления.

Советские воины, несмотря на тяжелейшие условия, в которых им пришлось вести борьбу с врагом, проявляли исключительное упорство и массовый героизм. Одним из ярких образцов мужества и самопожертвования явился групповой подвиг, который совершили 29 января на западном берегу р. Волхов воины 229 стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии 52-й армии сержант И. С. Герасименко и рядовые А. С. Красилов и Л. А. Черемнов. Израсходовав свои гранаты, они одновременно бросились на амбразуры изрыгавших огонь вражеских огневых точек и закрыли их своими телами. Их подвиг позволил уничтожить вражеское гнездо, мешавшее продвижению наших войск. И. С. Герасименко, А. С. Красилову и Л. А. Черемнову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.⁸

Успех обозначился в полосе наступления 2-й ударной армии (командующий генерал Н. К. Клыков) и левого фланга 59-й армии (командующий генерал И. В. Галанин). Ударные группировки этих армий уже на второй день наступления пересекли р. Волхов и на ее левом берегу овладели несколькими населенными пунктами.

К концу января 2-я ударная армия и введенный в прорыв входивший в состав армии 13-й кавалерийский корпус (командир генерал Н. И. Гусев) углубились в расположение противника на 40–45 км.⁹ В феврале, продвинувшись на 75 км, советские войска с юга и юго-запада охватили Любанско-Киришскую группировку врага, насчитывавшую 7 дивизий. Однако дальнейшие попытки 2-й ударной армии наступления с целью овладеть Любанией успеха не имели.

Наступление 54-й армии Ленинградского фронта, начавшееся одновременно с войсками Волховского фронта, встретило упорное сопротивление и не дало существенных результатов. Лишь к 17 января ей удалось захватить населенный пункт Погостье. Главной причиной неуспеха действий армии явилось равномерное распределение сил на всем 30-километровом фронте наступления. В феврале наступление войск 54-й армии продолжалось. Вместе с ней на ее правом фланге на фронте Ладожское озеро — ст. Малукса вела борьбу с врагом 8-я армия (командующий генерал А. В. Сухомлин). Она была создана приказом Ставки 26 января в основном за счет соединений 54-й армии, а также переброшенных из Ленинграда управления и армейских частей 8-й армии.¹⁰

Прорвать оборону противника и выйти к Любани с севера соединениям 54-й и 8-й армиям не удалось. Их действия заставили немецкое командование перебросить сюда с других участков фронта две пехотные дивизии, что способствовало наступлению войск Волховского фронта.

В феврале на Волховский фронт был командирован в качестве представителя Ставки маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов по его просьбе. Как записано в постановлении политбюро ЦК ВКП(б) от 1 апреля 1942 г., «пребывание товарища Ворошилова на Волховском фронте не дало желаемых результатов. Желая еще раз дать возможность товарищу Ворошилову использовать свой опыт на фронтовой работе ЦК ВКП(б) предложил товарищу Ворошилову взять на себя непосредственное командование Волховским фронтом. Но товарищ Ворошилов отнесся к этому предложению отрицательно и не хотел взять на себя ответственность за Волховский фронт, несмотря на то, что этот фронт имеет сейчас решающее значение для обороны Ленинграда, сославшись на то, что Волховский фронт является трудным фронтом и он не хочет проваливаться на этом деле».¹¹

Ставка Верховного Главнокомандования, несмотря на неудачу наступления с целью овладеть Любанией, считая, что глубокий прорыв 2-й ударной армии в оборону противника

дает возможность полностью ликвидировать немецкую любань-чудовскую группировку, 28 февраля приказала командующему Волховским фронтом главные усилия сосредоточить на наступлении на любанском направлении и «станцией и городом Любань безусловно овладеть и прочно закрепиться не позднее 4–5 марта».¹²

Ленинградский фронт, согласно директиве Ставки от 26 февраля, должен был содействовать Волховскому фронту наступлением 54-й армии на Любань.¹³

54-я армия, усиленная 4-м гвардейским стрелковым корпусом, прорвала оборону немецких войск, продвинулась на 22 км, выйдя на рубеж Погостье, Кородыня, Посадников Остров. Но из-за возросшего сопротивления немецких войск прорваться к Любани не смогла.

Войска 2-й ударной армии вели бои на всем фронте. Они действовали стойко и мужественно. Однако, как докладывал Мерецков в Ставку 30 марта, «наступление 2-й ударной армии на Любань... развития не получило. Многодневные наступательные бои в исключительно трудных условиях бездорожья, лесистой местности положительных результатов не принесли. На этом направлении противник успел создать сильную систему опорных пунктов в лесу и дальнейшие попытки прорвать оборону противника повлекли за собой еще большее истощение войск».¹⁴ Лишь 15 км отделяло 2-ю ударную армию от Любани и 30 км от войск 54-й армии.

Неудачные действия армий Волховского и Ленинградского фронтов объяснялись и тем, что гитлеровское командование за счет перегруппировки своих войск под Ленинградом и переброски из Западной Европы в период января–марта усилило 18-ю армию семью дивизиями и одной бригадой.¹⁵

Завязывавшиеся у основания прорыва 2-й ударной армии бои с перешедшими в наступление немецкими частями носили ожесточенный характер. Воины 52-й и 59-й армий Волховского фронта мужественно отбивали атаки врага, но противостоять ему не смогли. 19 марта противнику удалось закрыть горловину прорыва 2-й ударной армии западнее Мясного Бора и тем самым перерезать ее коммуникации. Это очень осложнило положение армии, оказавшейся в окружении. Снабжение армии всем необходимым теперь было возможно только самолетами. Направленный К. А. Мерецковым во 2-ю ударную армию генерал А. А. Власов¹⁶ 23 марта доносил: «...подача армии и эвакуация из нее полностью прекращены... Армия имеет запасы: хлеба по 25 марта 1942 г., жиров, сала, овса, сена, сахара, соли нет. Начался падеж конского состава. Боеприпасы на исходе. Особенно нужны патроны к ППШ. Приняты меры для сокращения норм потребления и ограничения огнеприпасов и зернофуража до доставки авиацией. В ночь на 23 марта прибыло во Вдицко 8 самолетов „У-2“ с продовольствием и медикаментами. В армии скопилось до 3000 раненых».¹⁷

«В предвидении длительной борьбы в условиях окружения, — вспоминал командующий 2-й ударной армией генерал Н. К. Клыков, — мы приняли меры по заготовке продовольствия: порезали на колбасу лошадей, убавили выдачу хлеба, заложили в не-прикосновенный запас сухари. Авиация помогла нам боеприпасами и небольшим количеством продовольствия».¹⁸

Командование Волховского фронта особое внимание обратило на участок прорыва. Сюда были подтянуты все возможные резервы. «Мы вынуждены были, — писал К. А. Мерецков, — ввести в бой все, что было под рукой: весь состав курсов младших лейтенантов и учебную роту младших командиров».¹⁹

И в результате тяжелых боев, руководство которыми по указанию Ставки осуществлял К. А. Мерецков, советским войскам удалось 27 марта очистить от противника горловину, связывавшую 2-ю ударную армию с фронтом. По ней снова пошел транспорт с продовольствием, фуражом и боеприпасами.

Однако положение армии продолжало оставаться тяжелым, так как горловина, по которой осуществлялось ее снабжение, не превышавшая 3–5 км, насквозь простреливалась огнем врага. Попытки уничтожить противника в этих районах, предпринимавшиеся авиацией, не дали результатов. Авиация Волховского фронта в марте месяце произвела всего 7600 самолетовых вылетов.²⁰

В середине апреля командование группы армий «Север» решило провести новое наступление против 2-й ударной армии. Командующий группой Кюхлер, докладывая 13 апреля Гитлеру общую обстановку, просил его выделить для этого новые силы, так как не считал, «что противник сам погибнет в своих плохо снабжаемых районах». Однако, как записано в дневнике Верховного главнокомандования вермахта, Гитлер заявил, что рассчитывать на выделение новых сил ни в коем случае не следует, так как они необходимы для решения других важных задач на юге Восточного фронта (нефтяные районы Кавказа). Поэтому группе армий необходимо отказаться от планируемых наступательных действий с целью ликвидации котлов и ограничиться медленным изматыванием противника, постепенно выбивая его с командных высот, расположенных в котлах, «выкручивая его из убежищ и все более лишая противника возможности снабжения путем недопущения наводки мостов через Волхов». Он приказал авиации беспокоить противника сбрасыванием бомб замедленного действия на его коммуникации и дал согласие на выделение группе армий дополнительных противотанковых средств.²¹

Положение войск Волховского фронта, особенно 2-й ударной, 52-й и 59-й армий стало еще более трудным, когда в результате наступившего в конце марта потепления раскисли проложенные по болотам дороги. О строительстве новых дорог в этих условиях не могло быть и речи. Поэтому, чтобы обеспечить войскам грузовые и эвакуационные перевозки, дорожники занимались в основном постройкой гратов на болотах и укреплением разбитых грунтовых участков землей и хворостом. Перебои в снабжении войск, острый недостаток боеприпасов и продовольствия, возросшее сопротивление противника явились причиной временного затишья, наступившего на всех участках Волховского фронта. То же самое имело место и в полосе наступления 54-й армии Ленинградского фронта.

Положение 2-й ударной армии не могла не осложнить и происшедшая в это время смена командующего армией. 17 апреля Военный совет Волховского фронта в связи с тяжелой болезнью генерала Н. К. Клыкова допустил к командованию армией генерала А. А. Власова.²²

Командование Волховского фронта приступило к подготовке нового наступления на Любань.

Но нового наступления не произошло. «В конце апреля в Ставку прибыл командующий Ленинградским фронтом М. С. Хозин, — пишет А. М. Васильевский, — и доложил, что неудача Любанской операции произошла вследствие отсутствия единого командования войсками, защищавшими Ленинград. Он предложил объединить войска Ленинградского и Волховского фронта, а командование объединенным фронтом возложить на него. Б. М. Шапошников сразу выступил против такого предложения. И. В. Сталин, напротив, встал на позицию Хозина».²³

21 апреля Ставка приняла решение с 24 апреля объединить Ленинградский и Волховский фронты в единый Ленинградский фронт в составе двух групп: группы войск Ленинградского направления и группы войск Волховского направления.²⁴ Командующим Ленинградским фронтом и командующим группой войск Волховского направления был назначен М. С. Хозин, командующим группой войск Ленинградского направления — генерал Л. А. Говоров.²⁵

В мае 1942 г. советские воины продолжали бои на Любанском плацдарме, но развернуть наступление на Любань не удалось. «С середины марта 2-я ударная армия и войска 59-й и 52-й армий, расположенные западнее р. Глушица, — писал Хозин Сталину 11 мая 1942 г., — испытывают большие трудности в продовольственном и материально-техническом обеспечении. Вся эта группировка общей численностью до 62 382 человек базируется на единственную дорогу, проходившую в узком коридоре шириной 3 км. Этот коридор находится под постоянным минометным обстрелом и ударами авиации противника. Постройка в этом коридоре узкоколейки Мясной Бор—Новая Кереть не обеспечивает устойчивого подвоза, так как узкоколейка регулярно выводится из строя наземным огнем и бомбометанием с воздуха».²⁶

Немецкое командование, сосредоточив крупные силы у путей подвоза 2-й ударной армии, поставило ее под угрозу полного окружения. В связи с этим Ставка приказала генералу М. С. Хозину вывести 2-ю ударную армию из занимаемого ею плацдарма. Однако приказ не был выполнен. Ее воинам пришлось с боями пробиваться через узкую горловину у основания прорыва. Stalin признал, что «мы допустили большую ошибку, объединив Волховский фронт с Ленинградским. Генерал Хозин, хотя и сидел на Волховском направлении, дело вел плохо. Он не выполнил директивы Ставки об отводе 2-й ударной армии. В результате немцам удалось перехватить коммуникации армии и окружить ее». 8 июня 1942 г. Stalin и Василевский подписали следующий приказ Ставки Верховного Главнокомандования:

«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Разделить войска Ленинградского фронта на два самостоятельных фронта —
 - а) Ленинградский фронт в составе войск ныне существующей Ленинградской группы войск;
 - б) Волховский фронт в составе существующей Волховской группы.
2. Ленинградскую и Волховскую группы упразднить.
3. Разграничительной линией между Ленинградским и Волховским фронтами оставить существующую линию между Ленинградской и Волховской группами войск.
4. За невыполнение приказа Ставки о своевременном и быстром отводе войск 2-й ударной армии, за бумажно-бюрократические методы управления войсками, за отрыв от войск, в результате чего противник перерезал коммуникации 2-й ударной армии и последняя была поставлена в исключительно тяжелое положение, снять генерал-лейтенанта Хозина с должности командующего войсками Ленинградского фронта и назначить его командующим 33-й армией Западного фронта.
5. Отстранить от должности члена Военного совета Ленинградского фронта тов. Тюркина как не справившегося с работой и передать его в распоряжение Военного совета Ленинградского фронта.
6. Назначить командующим войсками Волховского фронта генерала армии тов. Мерецкова, освободив его от командования 33-й армией.

7. Утвердить в должности командующего войсками вновь выделенного Ленинградского фронта командующего Ленинградской группой генерал-лейтенанта тов. Говорова».²⁷

Командование Волховского фронта принимало все меры для вывода из окружения 2-й ударной армии, в результате чего был пробит коридор шириной 2–3 км, через который до 10 июля выходили остатки армии.

«Командующий 2-й ударной армией Власов, — пишет А. М. Василевский, — не выделяясь большими командирскими способностями, к тому же по натуре крайне неустойчивый и трусливый, совершил бездействовал. Создавшаяся для армии сложная обстановка еще более деморализовала его, он не предпринял никаких попыток к быстрому отводу войск».²⁸ 11 июля Власов добровольно сдался гитлеровцам в плен. Член военного совета 2-й ударной армии дивизионный комиссар И. В. Зуев погиб при выходе из окружения: он застрелился, когда у него остался один патрон.

Советские войска потеряли в Любансской операции 308 367 человек, из которых безвозвратные потери составили 95 064 человека.²⁹

Таким образом, операция советских войск на северо-западном направлении зимой 1941/42 г. не привела к разгрому немецкой группы армий «Север» и к деблокаде Ленинграда.

Одной из причин этого явились просчеты Ставки Верховного Главнокомандования в планировании боевых действий. Для общего наступления страна еще не имела достаточных стратегических резервов и боевых средств, а развернувшееся наступление на всем советско-германском фронте привело к распылению имеющихся сил.

Одной из основных причин неудовлетворительного развития операции явился также длительный, больше месяца, без достаточной маскировки период подготовки войск Волховского фронта и начало операции до завершения сосредоточения войск, предназначенных для наступления. Это привело к потере оперативной внезапности и удару слабыми силами. Противник раскрыл намерение советского командования и усилил свою группировку, что заставило армии Волховского фронта вместо продолжения наступательных действий, которые они вели в декабре 1941 г., прорывать немецкие оборонительные полосы. Затягивали развитие операции и ввод в бой сил по частям, и частые перегруппировки в ходе наступления. В результате операция фронта превратилась в наступательную операцию только 2-й ударной армии, правда, значительно усиленной. Но и эта операция, как писал Сталину 3 марта 1942 г. Ворошилов, побывавший в районе действия 2-й ударной армии, «была совершенно неподготовлена, и это сказывается до сих пор. Большинство сил 2-й ударной армии по мере продвижения вперед растягивались и отвлекались на сковывание противника на большом пространстве и для Любанской оставалась слабая, наскоро собранная, а главное, плохо организованная и слабо материально обеспеченная группа».³⁰

На действиях 2-й ударной армии отрицательно сказалось и отсутствие четкого и твердого руководства войсками. Распоряжения командования доходили до частей с опозданием. Начальник оперативного отдела штаба 2-й ударной армии неправильной информацией вводил в заблуждение штабы армии и фронта. Практически отсутствовал учет убитых и раненых. Некоторые подразделения пропадали из виду и не обеспечивались продовольствием и боеприпасами. В результате Ставке пришлось отстранить от обязанностей начальника штаба 2-й ударной армии генерала В. А. Визжилина и начальника оперативного отдела полковника Пахомова.³¹

Серьезной причиной неуспеха наших войск являлись перебои в снабжении в ходе операции основными видами материального обеспечения. «Положение с боеприпасами в армиях фронта из-за несвоевременности прибытия транспортов создалось угрожающее», — доносил 20 февраля в Главное артиллерийское управление начальник штаба Волховского фронта Г. Д. Стельмах. — По 19 февраля из 70 транспортов, запланированных на февраль, было получено только 24. Минометы и артиллерия на 18 февраля имели боеприпасов всего 0.2–0.9 боекомплекта».³² Для налаживания снабжения на Волховский фронт в конце января 1942 г. прибыл заместитель наркома обороны, начальник тыла Красной армии генерал А. В. Хрулев.

Перебои в снабжении были связаны и с объективными трудностями. Железная и автомобильная дороги, по которым двигались транспорты для наступавших войск, были слишком перегружены. По ним одновременно шло снабжение для Ленинграда и для севера страны.

Вследствие понесенных потерь и несвоевременного их восполнения как в людях, так и в вооружении и особенно в автоматическом оружии, советские силы уменьшились, а противника значительно возросли.

Одной из причин неудачи советских войск было и то, что между Ленинградским и Волховским фронтами не было настоящего взаимодействия, что позволяло фашистскому командованию с помощью маневра живой силой и техникой ослаблять и заставлять перейти к обороне наступательные группировки фронтов. «Мы действовали разрозненно, — докладывал в Генеральный штаб М. С. Хозин 18 апреля 1942 г. — В январе начал наступление Волховский фронт, Ленинградский фронт его не сумел по-настоящему поддержать, потому что войска 54-й армии были истощены в людском и материальном отношении. В феврале и марте начал наступление Ленинградский фронт, но не поддержанный Волховским фронтом тоже выдохся. На днях вновь начал наступать Волховский фронт; Ленинградский не в состоянии поддержать, так как дивизии 54-й армии выдохлись».³³

Однако войска Ленинградского и Волховского фронтов в Любансской операции добились крупных успехов. Советские воины, наступая в лесисто-болотистой местности, без дорог, часто по пояс в снегу или по колено в воде, проявляя невиданный героизм, вышли в район Любани и поставили противника в критическое положение. Они сковали группу армий «Север», что лишило ее возможности организовать новое наступление на Ленинград и не позволило немецко-фашистскому командованию за ее счет усилить свои войска на других направлениях, и в частности на западном, где в это время шло наступление советской армии. Любанская наступательная операция привела даже к тому, что врагу пришлось усиливать группу армий «Север» соединениями, переброшенными из Западной Европы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цунц М. В огне четырех войн. М., 1972. С. 47.

² Мерецков К. А. На службе народу. М., 1988. С. 248, 249.

³ Великая Отечественная война. 5(2). Ставка ВГК: Документы и материалы 1942 г. // Российский архив. М., 1996. 16/5(2). С. 36.

⁴ Оборона Ленинграда. 1941–1944: Воспоминания и дневники участников. Л., 1968. С. 190.

⁵ Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее — ЦАМО РФ). Ф. 96-Ф. Оп. 2011. Д. 26. Л. 22–24.

⁶ Оборона Ленинграда. 1941–1944. С. 190.

- ⁷ ЦАМО РФ. Ф. 48. Оп. 3408. Д. 140. Л. 109.
- ⁸ Барбашин И. П. и др. Битва за Ленинград в 1941–1944. М., 1964. С. 140, 141.
- ⁹ ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 98. Л. 13–16.
- ¹⁰ ЦАМО РФ. Ф. 132-А. Оп. 2642. Д. 32. Л. 15, 16.
- ¹¹ Там же. Оп. 2642. Д. 233. Л. 286.
- ¹² Там же. Д. 95. Л. 29–31.
- ¹³ Институт марксизма-ленинизма. Документы и материалы отдела истории Великой Отечественной войны. И nv. № 9484. Л. 368.
- ¹⁴ ЦАМО РФ. Ф. 48. Оп. 3408. Д. 141. Л. 111.
- ¹⁵ Сборник материалов по составу, группировке и перегруппировке войск фашистской Германии и войск бывших ее сателлитов на советско-германском фронте за период 1941–1945 гг. Б. м., б. г. Вып. 2. С. 9, 19, 35.
- ¹⁶ Генерал-лейтенант А. А. Власов 8 марта 1942 г. Ставкой был назначен заместителем командующего Волховским фронтом.
- ¹⁷ ЦАМО РФ. Ф. 204. Оп. 97. Д. 89. Л. 12–14.
- ¹⁸ Вторая ударная армия в битве за Ленинград: Воспоминания, документы. Л., 1983. С. 20.
- ¹⁹ Мерецков К. А. На службе народу. С. 261.
- ²⁰ Операции советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941–1945. М., 1958. Т. 1. С. 485.
- ²¹ Kriegstagebuch des Oberkamados der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstoss). Bd 2: Ester Halband. Frankfurt a. M. 1963. S. 500.
- ²² ЦАМО РФ. Ф. 48. Оп. 3408. Д. 141. Л. 537. 20 апреля 1942 г. Ставка утвердила назначение заместителя командующего Волховским фронтом генерал-лейтенанта А. А. Власова командующим 2-й ударной армией по совместительству (ИМЛ. Документы и материалы отдела истории Великой Отечественной войны. И nv. № 9485. Л. 201).
- ²³ Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 1988. Кн. 1. С. 183.
- ²⁴ С 3 мая 1942 г. группы стали именоваться: Волховской группой войск и Ленинградской группой войск Ленинградского фронта (ЦАМО РФ. Ф. 48-А. Оп. 1640. Д. 179. Л. 215).
- ²⁵ ЦАМО РФ. Ф. 132-А. Оп. 2642. Д. 41. Л. 122, 123.
- ²⁶ Там же. ф. 204. Оп. 97. Д. 91. Л. 7–11.
- ²⁷ Мерецков К. А. На службе народу. С. 279; Великая Отечественная война. 5(2). С. 244; Ставка ВГК: Документы и материалы. 1942 г. С. 244.
- ²⁸ Василевский А. М. Дело всей жизни. Кн. 1. С. 184.
- ²⁹ Гриф секретности снят. М., 1993. С. 224.
- ³⁰ ЦАМО РФ. Ф. 19. Оп. 2729. Д. 5. Л. 62, 63.
- ³¹ Мерецков К. А. На службе народу. С. 256; Дынин И. Мерецков // Коммунист вооруженных сил. 1990. № 11. С. 71.
- ³² ЦАМО РФ. Ф. 48. Оп. 3408. Д. 140. Л. 372.
- ³³ Там же. Ф. 217. Оп. 1227. Д. 46. Л. 111–112.

H. A. Ломагин

УПРАВЛЕНИЕ НКВД ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Одной из наименее изученных тем в историографии Великой Отечественной войны является деятельность периферийных органов внутренних дел и госбезопасности. Особенный интерес представляет перестройка работы этих ведомств в новых условиях в Ленинграде, который вскоре после нападения нацистской Германии на СССР оказался в непосредственной близости от театра военных действий, а с начала сентября 1941 г. был блокирован войсками противника.

Война с Германией, особенно крайне неудачное ее начало и возможность нанесения противником бомбовых ударов по центрам власти и управления в Ленинграде, привела к существенному усложнению условий работы Управлений наркоматов внутренних дел (УНКВД) и госбезопасности (УНКГБ) в городе и области. 25 июня 1941 г. был установлен особый порядок действий сотрудников УНКВД и УНКГБ на случай сигнала «воздушная тревога» и произведен отбор наиболее ценных оперативных материалов, которые следовало забирать с собой в чемоданах или мешках и перемещать на первый этаж здания. Речь шла об агентурных разработках, делах-формулярах, списках сотрудников, списках агентуры и т. п. Особо важные документы подлежали эвакуации в Москву.¹

5 июля 1941 г. было принято еще одно решение о разгрузке оперативных отделов от секретных и совершенно секретных материалов. Оно было связано с возросшей угрозой бомбардировок Ленинграда, в том числе и здания управления. Использованные или законченные производством агентурные материалы, а также дела общеканцелярского и оперативного характера передавались в архив. Что касается личных дел выбывших из сети агентов, а также наблюдательных дел по малооцененным агентурным разработкам, то все они подлежали уничтожению. Решение по данным вопросам требовалось принять в течение суток.

Агентурные разработки, личные дела сети и другие оперативные материалы, постоянно требовавшиеся в работе, упаковали в пачки, поставив на них необходимые обозначения, и хранили в отделах в железных шкафах и сейфах. По агентурным разработкам были составлены меморандумы для пользования в текущей работе, а по личным делам агентов-осведомителей — списки с краткими характеристиками. Меморандумы и списки также хранились в железных шкафах и сейфах в именных папках сотрудников, за которыми эти материалы чисились.

В случае реальной угрозы военного нападения и полной невозможности в создавшейся обстановке эвакуировать оставшиеся оперативные материалы их следовало уничтожить на месте. В отношении меморандумов и списков секретных сотрудников предпринимались все меры к их сохранению и вывозу из угрожаемой местности и только «в крайнем случае» они могли быть сожжены.² «Чемоданное» состояние оперативных материалов создавало дополнительные трудности для работы органов внутренних дел и госбезопасности.

С началом войны изменился порядок работы с арестованными. Допросы проводились во внутренней тюрьме и лишь в случае необходимости проведения очных ставок со свидетелями разрешался вывод арестованных в кабинеты к следователям.³ Все арестованные за «активную контрреволюционную деятельность» в городе и области подлежали немедленному этапированию во внутреннюю тюрьму Управления НКГБ по Ленинградской области для проведения там необходимых следственных действий и выявления всех их связей.⁴

Операции по арестам предлагалось проводить в кратчайшие сроки. С этой целью был введен новый порядок реализации агентурных материалов на аресты. Со 2 июля 1941 г. постановления на арест, об избрании меры пресечения и описи имущества передавались непосредственно в 3-й отдел УНКВД, который собственно и занимался проведением арестов. К постановлениям прилагалась справка, в которой указывалось, на что следует обратить внимание при обыске арестованного, а также содержалось

предостережение относительно того, с какими арестованными нельзя сажать в одну камеру. Агентурные материалы, включая агентурные дела и формуляры на арестованных, передавались непосредственно в следственную часть вместе со служебной запиской, а материалы на аресты подлежали реализации в день их поступления в 3-й отдел.⁵

В связи с тем что в начале июля 1941 г. активно шел процесс эвакуации арестованных из внутренней тюрьмы УНКГБ ЛО, с ними также проводилась оперативно-следственная работа с целью выявления лиц, которые проводили шпионскую, диверсионную или какую-либо организованную «контрреволюционную деятельность». В случае получения таких показаний от арестованных следователи были обязаны задержать их этапирование и продолжать работу с ними. Все следственные и агентурные дела, а также дела-формуляры на лиц, подлежащих эвакуации, сдавались в группу учета по спискам.⁶

Оперативное информирование в органах УНКГБ города и области тоже претерпело некоторые изменения. В целях упорядочения оперативной информации и «обеспечения своевременного реагирования на антисоветские проявления враждебных элементов на территории Ленинградской области и г. Ленинграда», а также для предупреждения активных антисоветских проявлений на начальников районных отделов НКГБ города и области, начальников межрайонных отделов НКГБ Ленинградской области возлагалась обязанность ежедневного представления в Оперативный штаб УНКГБ спецсообщений о настроениях, важнейших происшествиях и антисоветских проявлениях, выявленных по заявительским материалам как органами НКГБ, так и органами милиции в районах. Кроме этого, освещению в сводках подлежали такие вопросы, как наличие бандитских групп, задержание подозрительных лиц, обнаружение и изъятие взрывчатых и отравляющих веществ, радиопередающих устройств, организация работ по отбытию трудовой повинности, а также эвакуация населения из угрожаемых районов.

Данные о вновь завербованной агентуре, заведенных делах, об имевшихся в районных и межрайонных отделах НКГБ агентурных разработках и делах-формулярах в спецсообщения в Оперативный штаб не включались.⁷ Ранее существовавший порядок представления районными и межрайонными отделами НКГБ в секретно-политический отдел (СПО) УНКГБ информационных сообщений о состоянии района сохранялся.⁸ Структура регулярных донесений секретно-политического отдела УНКВД в НКВД СССР также осталась без изменений. Донесения состояли из четырех частей. В первой части содержалась информация о приобретении новой агентуры, во второй — в целом об агентурном аппарате и работе с ним, в третьей части приводились сведения о «реализации агентурных материалов», т. е. количестве арестованных, и наконец, в четвертой — о работе по розыску авторов антисоветских листовок и анонимных писем.⁹

Одной из характерных черт деятельности УНКВД и других правоохранительных органов в начале войны была их *относительная* публичность в расчете на обеспечение общей превенции. Основные печатные органы ленинградской партийной организации газета «Ленинградская правда», журнал «Пропаганда и агитация»¹⁰ и другие издания публиковали информацию не только о нормах, регулирующих поведение населения в условиях войны, но и о выявленной органами госбезопасности антисоветской деятельности и суровом наказании, которое понесли виновные. Средства массовой информации и особенно газета «Ленинградская правда» регулярно информировали ленинградцев о деятельности Военного трибунала, разъясняли вопросы правовой ответственности

за невыполнение законов военного времени, в том числе за ведение антисоветской агитации.¹¹ Такая пропагандистско-информационная составляющая политического контроля была особенно характерна для первого года войны.

В течение первого месяца войны деятельность органов госбезопасности и внутренних дел Ленинграда характеризует еще одна особенность. В отличие от центральных аппаратов НКВД и НКГБ, которые зафиксировали практически общий патриотический подъем среди всех категорий населения, включая подучетный элемент, а также в целом весьма спокойных по содержанию сводок партийных органов ленинградской организации ВКП(б) Управление НКГБ по Ленинградской области, напротив, констатировало значительную активизацию антисоветской подрывной работы со стороны «контрреволюционного элемента г. Ленинграда». Как отмечалось в приказе УНКГБ ЛО от 28 июля 1941 г. «Об агентурно-оперативной работе в военное время», в ряде случаев он «перешел к открытym формам борьбы против Советской власти».¹² Подрывная работа «пятой колонны» проводилась, по мнению УНКГБ, по четырем основным направлениям: совершение диверсионных актов; подача световых и радиосигналов вражеским воздушным силам в угрожаемых районах; распространение антисоветских пораженческих листовок, восхваляющих фашизм; ведение контрреволюционной, пораженческой, фашистской агитации, сеющей панику среди гражданского населения города и прифронтовой полосы.

Приведенные в документе примеры не создают ощущения «значительной» активизации противников советского режима. В нем отсутствуют какие-либо статистические данные, доказывающие появление опасной для режима динамики, зафиксированной органами НКГБ. За весь первый месяц войны, по сведениям органов НКГБ, было раскрыто всего четыре попытки совершения диверсионных актов. Так, например, сообщалось, что 22 июня 1941 г. уже после объявления о начале войны на заводе «Центролит» были обнаружены перерезанными электропровода, идущие к агрегатам, и приводной ремень трансмиссии. В тот же день на заводе «Пневматика» были найдены два капсюля и детонатор от гранаты. 4 июля на заводе «Электросила» была будто бы отправлена питьевая вода в баке, которой пользовался руководящий технический персонал завода. Диверсионный акт был предотвращен. Лица, которые его готовили, в содеянном сознались и были осуждены.¹³ Наконец, 22 июля был задержан бригадир одного из оборонных НИИ «Т». Совместно с работником того же института он наносил на стены в общественных местах НИИ знаки фашистской свастики, а после задержания признался в том, что также собирался вывести из строя электрохозяйство и оборудование института.

Подача световых и радиосигналов воздушным силам противника была зафиксирована органами госбезопасности впервые только 10 июля, когда во время воздушного налета на один из городов Ленинградской области немецким самолетам подавались сигналы белого и красного цвета. 14 июля в 23 ч. 10 мин. в районе Лигово были выпущены 4 ракеты белого цвета, а в 0 ч. 15 мин. в районе Стрельны была выпущена одна ракета красного цвета. Факты подачи световых сигналов были отмечены также в черте Ленинграда в районе Пулково, Дудердорфа, Петергофа, в районе угольной гавани Ленинградского торгового порта и в других местах.

Распространение рукописных листовок пораженческого характера было обнаружено в Куйбышевском районе, где удалось изъять 25 экземпляров. Автор листовок

восхвалял нацистскую Германию и призывал «подняться на войну против СССР, учинять еврейские погромы». 25 июня листовки аналогичного содержания распространялись в Кировском районе от имени «подпольного комитета анархистов». Кроме того, в адрес руководителей ВКП(б) и советского правительства поступали «отдельные анонимные письма контрреволюционного, повстанческого, пораженческого и террористического содержания».

На основании всех этих данных Управление НКГБ сделало вывод, что «целый ряд отмеченных за последнее время фактов антисоветской, пораженческой, контрреволюционной фашистской агитации со стороны отдельных лиц (особенно лиц немецкой национальности) серьезно сигнализирует об активизации деятельности так называемой “пятой колонны”». ¹⁴ По данным УНКГБ, в ряде случаев представители «пятой колонны» высказывались за координацию своих действий с командованием наступавших на Ленинград войск противника.

Обобщение новых угроз в военных условиях привело к постановке ряда задач в сфере агентурно-оперативной и розыскной работы, направленных на «своевременное выявление, вскрытие и ликвидацию представителей “пятой колонны” в Ленинграде и области». Эти задачи носили программный характер для деятельности органов внутренних дел. Прежде всего речь шла о необходимости максимального усиления агентурно-следственной работы по всем имевшимся в оперативных отделах УНКГБ, районных и межрайонных отделах разработкам и агентурным данным, которые свидетельствовали «о наличии отдельных групп и одиночек из лагеря “пятой колонны”». Оперативному составу вменялось в обязанность немедленно осуществлять тщательную проверку сигналов горожан о подрывной контрреволюционной работе «пятой колонны» и широко использовать все виды агентуры, а также работников спецотделов предприятий и учреждений. УНКГБ настаивало на проведении тщательной фильтрации задержанного подозрительного контингента, у которого не было при себе документов, а также тех, кто осел в городе и пригороде под видом беженцев из занятых противником районов. Одним из приоритетных направлений по-прежнему оставалось «четкое чекистское обслуживание оборонных заводов» с целью обеспечения их бесперебойной и безаварийной работы по выполнению новых задач, поставленных перед ними командованием Северо-Западного направления. На наиболее важных оборонных предприятиях (Кировский, Ижорский заводы, завод «Большевик», завод № 174) в кратчайшие сроки были созданы группы в количестве 3–5 оперативных работников.

Важнейшим подразделением, которое занималось осуществлением функции политического контроля в Управлении НКВД ЛО в годы войны, был секретно-политический отдел. На него в начале войны был возложен контроль за работой академической и технической интеллигенции, привлеченной для выполнения особо важных фортификационных работ по обороне Ленинграда. В связи с эвакуацией предприятий исключительное значение придавалось усилению работы транспортных отделений советских спецслужб, на которые возлагалась задача «исключить всякую возможность подрывной, диверсионной работы на железнодорожном транспорте со стороны отдельных контрреволюционных групп или одиночек из лагеря “пятой колонны”». Особое значение в условиях начавшейся войны придавалось также розыску авторов контрреволюционных листовок и анонимок «за счет применения более действенных чекистско-оперативных мероприятий с привлечением в необходимых случаях сотрудников оперативных

отделов УНКГБ, РО и МРО к активному участию в розыскных мероприятиях». В центре внимания по-прежнему оставались вопросы подготовки документации и оперативной ликвидации выделенных дел на немцев и другой подсчетный контингент, намеченный ранее к выселению по особым спискам. Наконец, ставилась задача исключить всякую возможность проникновения в формируемые в Ленинграде дивизии народного ополчения, в истребительные батальоны и рабочие дружины контрреволюционно настроенных лиц, проявлявших пораженческие и изменнические настроения.¹⁵

Насколько адекватно оценивали на Литейном реальность угроз на «внутреннем фронте»? Материалы партийных органов, многочисленные источники личного происхождения свидетельствуют о том, что первые недели войны характеризовались патриотическим подъемом ленинградцев, стремлением внести личный вклад в разгром врага. Успешно проведенные мобилизационные мероприятия в городе, формирование многотысячной армии народного ополчения — все это свидетельствовало о желании защищать свою страну и город от вероломного нападения Германии. Случай уклонения от мобилизации и нежелание идти в ополчение носили единичный характер.¹⁶

Документы партийных и правоохранительных органов почти не содержат свидетельств о каких-либо значительных негативных настроениях в связи с призывом в действующую армию, за исключением отдельных случаев проявления антисемитизма. Некоторые рабочие выражали радость по поводу призыва в армию лиц еврейского происхождения, «занимавших „теплые“ места на предприятиях (нормировщиков, кладовщиков и т. п.)».¹⁷ Сообщалось также, что в некоторых учреждениях в начале июля отмечались проявления панических настроений среди части еврейского населения, что, вероятно, было связано в значительной степени с появлением в городе первых немецких листовок, носивших ярко выраженный антисемитский характер.

Хотя в июне–июле 1941 г. практически все мероприятия военных и партийных органов в Ленинграде находили положительный отклик у населения, а информаторы райкомов сообщали, что общее настроение рабочих было здоровое,¹⁸ в сводках о настроениях приводились примеры критики двоенных отношений СССР и Германии. В частности, рабочие говорили, что «не надо было давать немцам хлеб и нефть», так как сами голодали и плохо подготовились к войне и, как следствие, оказались застигнутыми врасплох,¹⁹ что «зря кормили немцев — не русские люди нами управляют, а евреи, поэтому так и получилось».²⁰ В конце июня появились первые слухи о том, что «Красной Армии воевать нечем», что на фронте дела плохи и «Гитлера не удержать», что сам Гитлер обладает рядом выдающихся качеств.²¹ Основные тревоги женщин Ленинграда были связаны с эвакуацией детей, которая далеко не всегда проводилась организованно.

Чувства неизвестности и настороженности населения, отмеченные партинформаторами уже через две-три недели после начала войны, постепенно переросли в неуверенность. Ухудшение положения на фронте, введение карточек в середине июля 1941 г., отсутствие достоверной информации о развитии ситуации под Ленинградом и в целом в стране — все это способствовало распространению сомнений относительно способности власти защитить страну и отстоять Ленинград. Говоря о настроениях среди творческой интеллигенции, Э. Голлербах отметил, что никогда не бывает столько суеверия, как в период «массовой тревоги», что «у всякого свои „теории“, свои „гипотезы“».²²

Появление в «Ленинградской правде» 12 июля 1941 г. статьи Н. Петрова «Воины Красной Армии в плен не сдаются», призванной подчеркнуть бескомпромиссность борьбы

с нацизмом («смерть или победа»), было также реакцией на слухи о неблагополучии на фронте, подпитываемые как немецкой пропагандой, так и самими военнослужащими. В первой половине июля в городе получил распространение слух о том, что отступление Красной Армии связано с изменой маршала Тимошенко, «перешедшего к Гитлеру».²³ Вместе с тем среди части гражданского населения все еще сохранялась уверенность в превосходстве Красной Армии, особенно ее технической оснащенности. В городе распространялись слухи, что в боях за Псков и Остров наша авиация оказалась «куда лучше немецкой, а танки — не хуже».²⁴ Однако уже 30 июля информаторы одного из райкомов ВКП(б) Ленинграда отмечали, что «при призывае старших возрастов женщины вели себя особенно неспокойно».²⁵

В конце июля—начале августа напряжение в городе стремительно нарастало. Отсутствие вразумительной официальной информации о событиях на фронте привело к заметному ухудшению настроений и росту недоверия по отношению к власти. Июльские записи известной художницы А. Остроумовой-Лебедевой изобилуют констатациями, звучащими как упрек: «...мы иногда по целым дням ничего не знаем», «...мы ничего не знаем. Доходят всякие слухи. Не всему можно верить, а официального ничего не сообщают», «...от нас все скрывают». Настроение «у большинства» интеллигенции было тяжелое.²⁶ В создавшихся условиях информационный вакуум стремительно стал заполняться все новыми и новыми слухами,²⁷ носителями которых зачастую были беженцы, а также материалами немецкой пропаганды, главным образом листовок, которые уже в середине июля попали в город. Известный советский литературовед Ольга Фрейденберг²⁸ отмечала в первые месяцы войны, когда армия терпела одно поражение за другим, а сводки становились все скучее и скучнее: «Голодной душе советского гражданина информбюро начало подносить формулы, почти гомеровские стоячие фразы, которые оставляли во рту вкус горечи и отвращения. Заработали слухи. Города оставлялись один за другим и слухами пробирались по всей России; была создана особая система вуалировать в сводках несчастье, но и своя система понимать и открывать эту вуаль... сводки-формулы привели к тому, что ими перестали интересоваться».²⁹

Достаточно быстро в городе стал распространяться антисемитизм, который вышел за рамки «кухонных разговоров» и записей в дневниках, а также отдельных высказываний в связи с мобилизацией. 5 августа 1941 г. на бюро Кировского РК ВКП(б) отмечалось, что «проверкой сигналов, поступивших в РК, установлены проявляющиеся в последнее время среди трудящихся фабрики „Равенство“ отдельные нездоровые антисемитские настроения вплоть до открытых выступлений некоторых работниц».³⁰ Политорганизатор одного из домохозяйств Кировского района Орлов сообщал, что в августе 1941 г. в подведомственном ему доме «среди населения получили широкое распространение антисемитские настроения», источником которых была член ВКП (б) Родионова. Она рассказывала подросткам антисемитские анекдоты, под влиянием которых они «побили мальчика-еврея».³¹ Проблема антисемитизма стала вскоре настолько серьезной, что заставила Жданова высказаться по этому вопросу 20 августа 1941 г. на заседании ленинградского партактива, посвященном задачам ВКП(б) в связи с обороны города. В свойственной ему манере Жданов заявил, что «необходимо скрутить голову пятой колонне, которая пытается поднять ее, начинает шевелиться», что надо «решительно покончить с профашистской агитацией насчет евреев. Это конек врага: бей жидов, спасай Россию! Бей евреев и коммунистов!». Далее Жданов указал, что

обычными методами работы правоохранительных органов обойтись нельзя, что формальностям мирного времени не должно быть места, что надо действовать «по-революционному, по-военному, действовать без промедления».³²

На распространение антисемитизма в общем контексте ухудшения настроений в городе указывала и «Ленинградская правда». В передовой статье «Будем бдительны и беспощадны к врагу» содержался призыв «безжалостно разоблачать и сурово наказывать всех распространителей слухов, болтунов, трусов, маловеров, всех, сеющих панику, возбуждающих антисемитизм, всех, пытающихся подорвать монолитное единство трудящихся Ленинграда».³³

В специальном постановлении Кировского райкома ВКП(б) «Об антисоветских слухах, антисемитизме и мерах борьбы с ними», датированном 29 августа 1941 г., отмечались факты проявления антисемитизма среди рабочих Кировского завода, фабрики «Равенство», на ряде оборонных заводов, а также в домохозяйствах, а перед партийными и правоохранительными органами, включая НКВД, была поставлена задача «вести беспощадную борьбу с дезорганизаторами тыла, распространителями ложных слухов, агитаторами антисемитизма».³⁴

В конце августа 1941 г. настроения населения продолжали ухудшаться. Заведующий отделом пропаганды и агитации Кировского РК ВКП(б) вспоминал, что в домохозяйствах женщины открыто начали вести агитацию, заявляя, что «всем коммунистам скоро будет конец», что «с приходом немцев» они помогут уничтожить коммунистов.³⁵ По городу прокатилась очередная волна слухов. Широкое распространение получило мнение, что народ обманули, сказав, что есть запасы продовольствия на 10 лет. Появились много очевидцев «фашистского рая» на оккупированной территории. «Часть этих очевидцев, — продолжал М. Протопопов, — просто изымали органы (НКВД)... Мы хорошо были осведомлены о том, что творится в домохозяйствах, наиболее отсталых мы убеждали».³⁶

В некоторых домохозяйствах были разбиты и выброшены бюсты Ленина и Сталина. Упаднические настроения получили некоторое распространение и среди коммунистов. В Кировский РК ВКП(б) обращались «несколько коммунистов» с просьбой изъять у них произведения Ленина и Сталина: «...придут, мол, немцы, и за такую литературу вешать будут».³⁷ Аналогичные факты засвидетельствованы Ленинским РК ВКП(б). Партийные функционеры сообщали, что «хоть и при закрытых дверях, но задавали вопросы о том, когда можно уничтожить партбилет, уничтожать ли книги Ленина и по истории партии, когда выдадут паспорта на другую фамилию, чтобы обеспечить переход на нелегальное положение».³⁸ Примечательно, что в сводках СПО УНКВД ЛО информации о развитии подобных настроений практически не имеется.

В конце августа пораженные настроения под влиянием немецкой пропаганды приобрели вполне определенный характер — появились призывы к сдаче Ленинграда и превращения его в «открытый город». Так, инструктор по информации Дзержинского РК ВКП(б) 22 августа 1941 г. сообщил в горком партии о том, что в районе трижды расклеивались объявления, в которых содержались призывы к женщинам с целью спасения детей идти в Смольный и просить, чтобы Ленинград объявили «свободным городом».³⁹ Рабочие «Пролетарского завода» вспоминали, что «жизнь становилась хуже, немец подходил к Ленинграду, все наши пригороды были забраны, народ ходил панически настроенный, некоторые, да и большинство ждали его как Христа. Рабочие говорили, что придет немец и перевешает всех коммунистов».

Несмотря на все попытки исключить проникновение в город агитационных материалов противника, немецкие листовки читали и пересказывали их содержание знакомым. В этой связи характерно, что обращение к ленинградцам К. Ворошилова 21 августа не произвело ожидаемого эффекта, скорее, напротив, заронило еще большие сомнения в способности власти отстоять город. Наряду с этим в городе распространились слухи об обращении немецкого командования к горожанам оставаться дома и сохранять спокойствие. Ленинградцам обещали не бомбить город.⁴⁰ Наличие в городе значительного количества беженцев обусловило дополнительные трудности со снабжением города продовольствием. Действия властей, не предвидевших проблем, связанных с наплывом беженцев, вызывали у горожан сожаление и осуждение.⁴¹

Еще до начала блокады партийные информаторы сообщали о слухах относительно хорошего обращения немцев с жителями оккупированных районов. Были зафиксированы разговоры о том, что немецкие солдаты «покупают у населения яйца и кур», «хорошо относятся к пленным».⁴² Одна из работниц галошного завода со слов знакомой, бывшей на оккупированной территории, рассказывала о преимуществах жизни при немцах, а также об антисемитской пропаганде. Немецкие пропагандисты «показывают кино, как русские стоят в очереди, а евреи идут с заднего хода». Информатор одного из райкомов ВКП(б) подчеркивал, что в большинстве случаев источниками слухов, разговоров и нездоровых настроений были прибывающие в город с фронта и главным образом вышедшие из окружения.⁴³

В начале сентября в городе распространялось множество тревожных слухов, настроение у многих в связи с положением на фронте было подавленным. Военные выражали беспокойство о судьбе родных, оставшихся в городе, и «обо всем домашнем». В одном из дневников говорилось прямо о том, что «предвидится разруха, гибель и голод».⁴⁴ Некоторые скептически относились к военному обучению («берут одних инвалидов,⁴⁵ да и оружия для них нет»), а также целесообразности проведения оборонных работ («немец все равно обойдет»). В городе оказалось значительное количество немецких листовок. О. Фрейденберг признавалась, что «некоторые я сама читала»,⁴⁶ отмечая, что призывы сдаваться и начинать погромы («Бей жидов и комиссаров!») были лейтмотивом агитации противника.

Некогда большой интерес к международным событиям, который был характерен для настроений населения в довоенном Ленинграде, через два месяца войны практически полностью исчез, уступив место насущным вопросам борьбы за выживание. Ни альянс с Америкой, ни совместная операция с англичанами в Иране, должна убедить в искренности намерений союзников в совместной борьбе с Германией, не нашли соответствующего отклика у ленинградцев. По-прежнему по отношению к демократическим государствам доминировало недоверие.⁴⁷ Таким образом, на этом этапе войны внешний ресурс усиления борьбы с Германией не представлялся горожанам существенным. Союзники были далеко, в то время как события вокруг Ленинграда развивались стремительно. «...Кольцо все туже затягивается вокруг Ленинграда. Чувствуется большое напряжение... и среди коммунистов... Я не знаю, я могу ошибаться, но мне кажется, он [Ленинград] уже вполне окружен...», — пометила в своем дневнике А. Остроумова-Лебедева 1 сентября.⁴⁸ П. Лукницкий, работавший в то время в Ленинграде корреспондентом ТАСС, также отмечал, что «разговоры о разбомбленной, несколько раз занятой фашистами Мге по всему городу... Поскольку никаких официальных сообщений о том,

что происходит под стенами города пока нет, население, естественно, питается слухами... Но тот факт, что бои идут всюду за городом, что никакие дальние поезда не ходят и Ленинград не имеет железнодорожного сообщения с другими городами, представляется несомненным».⁴⁹

В конце августа–начале сентября 1941 г. ленинградское руководство оценивало ситуацию в городе как критическую. Готовясь к дальнейшему натиску со стороны противника, оно принимало меры к укреплению в городе порядка и общественной безопасности. Весьма показательной в этом отношении является передовая статья в «Ленинградской правде» от 2 сентября. В ней фактически говорилось о *возможности* беспорядков в городе и появлении новых видов асоциального поведения — мародерства, спекуляции и хулиганства. Уклонение от трудовой повинности стало уже настолько распространенным явлением, что редакция газеты сочла возможным и целесообразным публикацию материалов о привлечении трех женщин к уголовной ответственности.⁵⁰ 3 сентября 1941 г. передовая статья «Ленинградской правды» вновь была посвящена вопросу поддержания строящегося революционного порядка и общественной безопасности. В очередной раз редакция газеты призывала всех выполнить «долг каждого советского патриота» — «разоблачать врагов, как бы хитро они ни маскировались». Далее, по-видимому, учитывая, что у населения понизился порог бдительности и оно стало весьма терпимо воспринимать носителей альтернативных официальным настроений, редакция подчеркнула, что «тот, кто *равнодушно* (курсив мой. — Н. Л.) относится к паникерам и распространителям слухов, не разоблачает и не пресекает предательских действий, тот создает угрозу общественной безопасности, тот делает тягчайшее преступление перед родиной».⁵¹

Таким образом, настроения населения Ленинграда в течение блокадного периода менялись достаточно быстро в связи со стремительным развитием событий на фронте и приближением вермахта к городу, наличием в нем с августа значительного числа беженцев и дезертиров, а также весьма активной пропагандой противника.

На смену массовой лояльности горожан в начальный период войны у части ленинградцев пришли настроения, отличительной чертой которых были все большее беспокойство и подчас недовольство, в целом имевшее весьма аморфный характер. Широкий спектр гетерогенных настроений, существовавший до войны, выплеснулся наружу, включая критику довоенной внутренней и внешней политики. В условиях дефицита достоверной информации о положении на фронте все большее значение стала приобретать межличностная коммуникация, т. е. слухи. Они не только являлись источником информации о ситуации на подступах к Ленинграду и о причинах поражений, но и активным фактором формирования настроений, а соответственно поведения людей. Что же касается деятельности органов внутренних дел и госбезопасности в Ленинграде с момента нападения нацистской Германии на СССР до начала блокады, то она во многом исходила не из реально развивавшейся ситуации на «внутреннем» фронте, а из тех представлений об угрозах, которые сложились еще в довоенное время.

Несмотря на то что в силу множества факторов в Ленинграде в июле–августе 1941 г. широкое распространение приобрел антисемитизм, вызывавший озабоченность Смольного, органы внутренних дел и госбезопасности не относили борьбу с ним к приоритетным направлениям своей деятельности. По-прежнему в центре внимания оставалась работа среди лиц, находившихся на оперативном учете, в то время как новые угрозы безопасности в течение нескольких месяцев оставались без должного внимания.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее — Архив УФСБ РФ по СПб. и ЛО). Ф. 8. Оп. 25. П.н. 18. Д. 257. Л. 171.

² Там же. П.н. 22. Д. 261. Л. 88 об.

³ Там же. П.н. 18. Д. 257. Л. 172.

⁴ Там же. Л. 204.

⁵ Там же. П.н. 16. Д. 250. Л. 33.

⁶ Там же. Л. 54.

⁷ 10 августа 1941 г. в соответствии с приказом НКВД фактически подтверждались функции первых специальных отделов НКВД, на которые наряду с другими возлагались задачи по ведению оперативного учета агентурно-осведомительной сети, агентурных дел, дел-формуляров, учетных дел, следственных дел и лиц, проходивших по делам, находившимся в разработке НКВД республик, УНКВД краев, областей и подчиненных им органов. Первые специальные отделы УНКВД также занимались статистической обработкой материалов оперативного учета и составлением периодических цифровых сведений о количестве и изменениях в составе агентурно-осведомительной сети, учете антисоветских элементов, выявленных агентурной разработкой, о количестве и движении следственных дел и арестованных и т. п. (Там же. П.н. 2. Д. 232. Л. 545).

⁸ Там же. П.н. 18. Д. 257. Л. 213.

⁹ В начале декабря 1941 г. были внесены некоторые изменения в последовательность изложения материала, содержание которого по-прежнему раскрывало четыре сюжета. Однако данные о вербовке новой агентуры приводились в завершении спецсообщений.

¹⁰ См.: Ленинградская правда. 1941. 1 июля; 6 июля; Большевик. 1941. № 14. С. 7–12; Пропаганда и агитация. 1942. № 14. С. 5–6, и др. По нашим подсчетам, за военные месяцы 1941 г. в «Ленинградской правде» было помещено более 150 статей, направленных на повышение бдительности и разоблачение пропаганды противника.

¹¹ Ленинградская правда. 1941. 3 июля.

¹² Архив УФСБ РФ по СПб. и ЛО. Ф. 18. Оп. 25. П.н. 18. Д. 257. Л. 217.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же. Л. 219.

¹⁵ Там же. Л. 219–221.

¹⁶ ЦГАИПД СПб. Ф. 408. Оп. 2. Д. 377. Л. 86; об аналогичных патриотических настроениях в Москве см.: Barber J. Popular Reactions in Moscow to the German Invasion of June 22, 1941 // Soviet Union. 1991. 18. N. 1–3. P. 5–18.

¹⁷ ЦГАИПД СПб. Ф. 408. Оп. 2. Д. 377. Л. 86.

¹⁸ Там же. Ф. 4. Оп. 3. Д. 353. Л. 1–18.

¹⁹ Там же. Д. 350. л. 15.

²⁰ Там же. Ф. 408. Оп. 1. Д. 1115. Л. 31.

²¹ Там же. Л. 17; Д. 352. Л. 14; Д. 357. Л. 2–3.

²² Голоса из блокады: Ленинградские писатели в осажденном городе (1941–1944). СПб., 1996. С. 167.

²³ ЦГАИПД СПб. Ф. 415. Оп. 2. Д. 1124. Л. 22.

²⁴ Там же. Л. 21 об.

²⁵ Там же. Л. 22.

²⁶ Голоса из блокады. С. 169–170.

²⁷ Военный трибунал за распространение ложных слухов приговорил С. К. Дьячкова к 5 годам лишения свободы, а «бывшего активного меньшевика «А.» — к расстрелу (Ленинградская правда. 1941. 12 авг.).

²⁸ Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955), двоюродная сестра Б. Л. Пастернака — разносторонний исследователь исторической поэтики, теории фольклора, ритуально-мифологических образов, античной литературы. Автор книг «Поэтика сюжета и жанра» (1936), «Миф и литература древности» (1978), многих статей.

²⁹ Фрейденберг О. М. Осада человека // Минувшее: Ист. альманах. № 3. М., 1991. С. 10.

³⁰ ЦГАИПД СПб. Ф. 417. Оп. 3. Д. 25. Л. 6–7.

³¹ Там же. Ф. 25. Оп. 10. Д. 3 24. Л. 16–16 об.

³² Ломагин Н. А. Настроения защитников и населения Ленинграда в период обороны города. 1941–1942 // Ленинградская эпопея: Организация обороны и население города. СПб., 1995. С. 211–212.

³³ Ленинградская правда. 1941. 23 авг. Днем раньше газета прямо указала на дезертирство как еще одну опасность, с которой необходимо

бороться. При этом важно подчеркнуть, что численно преобладавшая часть горожан, особенно молодежь, была по-прежнему настроена патриотически и буквально рвалась в бой. Высококвалифицированный рабочий А. Ф. Евдокимов, работавший на оборонном предприятии по брони, 22 августа выразил мнение многих своих сверстников, оставленных в тылу. В дневнике осталась запись: «Так дальше не могу. Уйду! Мои товарищи давно ушли на фронт... Настою, чтобы быстрее отправили в действующую армию» (Гос. мемориальный музей блокады Ленинграда (ГММБЛ). Рукописно-документальный фонд. Д. 30. Оп. 1 р. Дневник Евдокимова Алексея Федоровича. 22 июня 1941 г. — 25 апреля 1944 г. Л. 66).

³⁴ Ломагин Н. А. Настроения защитников и населения Ленинграда в период обороны города. С. 212.

³⁵ ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 1380. Л. 4.

³⁶ Там же. Л. 16 об.

³⁷ Там же. Л. 17.

³⁸ Там же. д. 771. л. 4.

³⁹ Там же. Ф. 408. Оп. 2. Д. 39. Л. 7.

⁴⁰ Там же. Д. 1131. Л. 53 об.

⁴¹ «Наши коммерческие магазины, — писала А. Остроумова-Лебедева, — осаждаются огромным количеством народа, жаждущего купить хлеба. Хлеба! Это все беженцы... Жаль, не ожидали такого наплыва покупателей на хлеб

и потому не заготовили его достаточное количество, из-за чего около нас такие чудовищные очереди» (РНБ. Ф. 1015. Д. 1015. Л. 55).

⁴² ЦГАИПД СПб. Ф. 409. Оп. 2 д. 294. Л. 97.

⁴³ Там же. л. 101.

⁴⁴ См., например, дневник красноармейца С. И. Кузнецова (Блокадные дневники и документы. СПб., 2004. С. 300–301).

⁴⁵ См., например, дневник красноармейца С. Ф. Путякова (Блокадные дневники и документы. С. 339).

⁴⁶ Немецкие листовки читали и преданные советской власти рабочие. Например, А. Ф. Евдокимов записал в дневнике, что «нацисты дали нам последний срок сдачи города. К 12 числу в случае отрицательного ответа они обещали стереть нас с лица земли. Сегодня и вчера фашисты сбросили листовки и снова требуют прекращения сопротивления. ... Врете гады! Нас не запугаете. Драться будем с тройной силой...» (ГММБЛ. Рукописно-документальный фонд. Д. 30. Оп. 1 р. Л. 67–68).

⁴⁷ А. Остроумова-Лебедева записала в своем дневнике: «Не очень я доверяю Англии! Присягается за дружбу с нею тяжко расплачиваться» (РНБ. Ф. 1015. Д. 1015. Л. 61 об.).

⁴⁸ Там же. Л. 70.

⁴⁹ Лукницкий П. Сквозь всю блокаду. Л., 1964. С. 54.

⁵⁰ Ленинградская правда. 1941. 2 сент.

⁵¹ Там же. 3 сент.

B. A. Иванов

ВОЙНА И ЦЕНЗУРА (ФИЛЬТРАЦИЯ ЛОЗУНГА «О НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗИ» ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА И ТЫЛА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.)

Не вызывает сомнений, что война придает контролю государства над обществом все черты глобальности. В тоталитарных системах, где без этой функции невозможно представить механизм государственного управления вообще, в чрезвычайных условиях войны по-особенному проявляется его способность к охранительному позиционированию.

Из содержательной части важнейших партийно-правительственных решений первых дней войны нетрудно заметить, с какой неприкрытой тревогой советское военно-

политическое руководство заявляло о необходимости решительного предотвращения внутренних угроз самой сути управления как военной машиной государства, так и общественными процессами внутри него.¹

Для властей всех уровней советское общество периода войны оказалось «великим незнакомцем» как в части героико-патриотической, так и оппозиционно-сопротивленческой. В обстановке военных действий контроль за умонастроениями армии и общества приобретал первостепенное значение. Его усиление связывалось прежде всего с организацией перлюстрации фронтовой и тыловой корреспонденции и постоянного прослушивания телефонных переговоров на международных, военных и гражданских линиях.

При этом придание политической окраски с ярко выраженной оперативно-розыскной направленностью обычной процедуре цензурирования всякого рода переписки признавалось как в центре, так и на местах самым необходимым и наиболее приемлемым решением.² Тем более что положение на Ленинградском фронте практически до весны 1944 г. оставалось крайне напряженным, а его командованию приходилось дополнительно решать неотложные задачи блокированного на длительный срок города.

В связи с военной обстановкой в сложившейся схеме контроля за всеми видами почтово-телефонной корреспонденции и международной связи произошли существенные изменения. Их нормативно-правовые основания проистекали из вышедшего 26 июня 1941 г. приказа народного комиссара Государственной безопасности СССР В. Меркулова «О порядке осуществления политического контроля над всеми видами почто-телефонной корреспонденции и международной связи СССР».³

Особое внимание в этом «строгом секретном» документе обращалось на новый порядок организации военной цензуры, функции которой заметно расширились. Так, после создания на военное время военно-почтовых баз (ВПБ) и военно-сортировочных пунктов (ВСП) в действующих армиях и фронтах функции контроля воинской переписки с конца июня 1941 г. передавались 3-м отделам НКО и НКВМФ, которые были обязаны организовать при названных базах контрольные пункты (КП).

Таким образом, 4-е отделы НКГБ СССР, союзных и автономных республик, управления НКГБ краев и областей освобождались от осуществления прямого политического контроля всей почтовой корреспонденции, входящей и исходящей из РККА. Начальникам этих подразделений предписывалось в короткие сроки оказать эффективную помощь в формировании и организации контрольных пунктов при ВПБ и ВСП.

В принципе сама процедура создания названных контрольных пунктов не была какой-то неожиданной и трудоемкой задачей для большинства территориальных и армейских органов госбезопасности. К примеру, Ленинградское УНКВД еще в начале 1940 г., выполняя приказы НКВД СССР № 0017, 0074 и 0077, проделало большую организационно-методическую работу по цензурированию воинской корреспонденции.⁴ Во многом этому способствовала обстановка советско-финской войны. Тогда для реализации приказа НКВД СССР от 14 января 1940 г. при 2-м Спецотделе УНКВД ЛО было создано отделение цензуры исходящей корреспонденции из действующих частей РККА и ВМФ и определены задачи по ее обработке, проходящей через ВПБ Мурманска, Петрозаводска, Карельского перешейка и Ленинградский почтово-сортировочный пункт.⁵ Позже, в начале мая 1941 г. циркуляром НКГБ СССР № 17 «По обслуживанию лагерных сборов частей Красной Армии аппаратом „ПК“» уточнялись отдельные вопросы организации взаимодействия территориальных и армейских подразделений госбезопасности в особых условиях.⁶

К тому же 2 июня 1941 г. «в целях усиления военной цензуры в СССР ... и перевода цензуры на военный лад» учреждалась должность главного военного цензора при СНК СССР и утверждалось Положение о нем.⁷ Ему и его органам предоставлялось право не только воспрещать распространение сведений, разглашающих военные и прочие (экономические, политические и др.) тайны, а также «сообщения, взгляды и идеи, направленные против социалистического строя в СССР, ВКП(б), Советского правительства, Сталинской Конституции (основного закона) и основ марксизма-ленинизма», но и осуществлять просмотр всех почтовых отправлений.⁸

Здесь речь шла не о специальных подразделениях 4-х отделов НКГБ СССР, осуществляющих до 26 июня 1941 г. контроль воинской корреспонденции, а об усилении аппарата военного цензора во всей структуре цензуры в СССР в этот период, придание ей функций «политического контроля» в чрезвычайных обстоятельствах. Поэтому уже 7 июля 1941 г. в приказе НКГБ СССР В. Меркулова «О введении военной цензуры в областях, объявленных на военном положении», говорилось о необходимости оперативного перевода территориальных подразделений органов госбезопасности, ведущих цензорский контроль, на выполнение заданий по «политическому контролю» всей внутренней корреспонденции.⁹

Что же касается органов цензуры, непосредственно ведущих контроль за корреспонденцией воинских частей действующих армий и органов, а также тыловых военных округов, то вышедшие 6 июля 1941 г. постановление ГКО и приказ НКО СССР от 13 июля 1941 г. вполне определенно классифицировали сведения, составляющие военную тайну, переписка по поводу которых тянулась еще с конца 1930-х гг.¹⁰ Например, в Наркомате обороны количество позиций таких сведений постоянно возрастало. Если в начале 1938 г. к сведениям, составляющим военную тайну, в НКО относили чуть более 10 позиций, то в условиях начавшейся войны — уже свыше 20.

Их анализ позволяет заключить, что фактически ни одна из деталей фронтового, армейского события (бои, сражения, операции и т. п.) и армейского быта (питание, здоровье и др.) не могла так или иначе не касаться того, что было установлено считать «военной тайной». Поэтому можно достаточно утвердительно заключить, что тыл страны не только в начальной, но и последующие периоды войны был закрыт от фронта в информационном плане весьма надежно. И в первую очередь посредством тотальной и тщательной перлюстрации всякого рода воинской корреспонденции (писем, телеграмм, бандеролей, посылок и т. п.).

К осени 1941 г. в силу увеличившегося потока корреспонденции и заметного отставания военно-цензорской работы от установленных нормативов не столько общего, сколько «политического» контроля было принято решение о создании при армейских ВПБ специальных отделений военной цензуры. В начале сентября такое отделение было сформировано при Ленинградской военно-почтовой базе — литер «АО».¹¹ Планировалось заметно улучшить «фильтрацию» корреспонденции на линии «фронт–тыл» и более предметно выстраивать схемы взаимодействия органов военной контрразведки и территориальных подразделений НКГБ.

Между тем к началу сентября 1942 г. в центральном аппарате НКВД сложилось устойчивое мнение о неудовлетворительном руководстве цензорской работой в войсках со стороны армейских служб контрразведки (3-и отделы — Особые отделы). Еще ранее, в июне 1941 г. такое опасение высказывал начальник 4-го отдела НКГБ СССР старший

майор госбезопасности Е. Лапшин, обеспокоенный в первую очередь их слабым кадровым составом, не умеющим работать в системе военной цензуры.¹² Хотя в сентябре Наркомат внутренних дел распространил свой циркуляр № 386 «О неудовлетворительной работе органов военной Цензуры и указания о дальнейшем улучшении работы и мерах к исправлению отмеченных недостатков», в котором пытался заметно «политизировать» процедуру цензурирования, тем не менее в действующей армии мало что изменилось.¹³

Как подчеркивалось в этом документе, «из многочисленных и разрозненных сведений, полученных в результате обработки исходящей корреспонденции из действующих армий.., не прослеживается общей политической линии.., общей тенденции в настроениях всех армейских структур».¹⁴ Другими словами, в длительной полосе военных неудач 1941–1942 гг. советское военно-политическое руководство пыталось через органы военной цензуры уловить устойчивые признаки сопротивления существующему режиму, найти гнезда тайного заговора в армии, понять, как работает механизм взаимодействия фронта и тыла в чрезвычайных обстоятельствах и как оперативно вскрывается, обрабатывается и доносится информация об этом и т. д.

Фактически с июня 1941 г. и весь 1942 г. органы военной цензуры решали, если можно так выразиться, «заградительные» задачи, фильтруя военную корреспонденцию и не проводя сколько-нибудь заметных оперативных комбинаций совместно с органами НКВД. В приказе НКВД СССР от 27 сентября 1942 г. «О мероприятиях по улучшению работы Военной цензуры» прямо говорилось о том, что цензорские подразделения, руководимые 3-ми отделами НКО, оказались не на высоте положения.¹⁵

К примеру, в Ленинграде органы военной цензуры упрекались и в том, что не смогли из общего характера контролируемойвойсковой корреспонденции своевременно уловить тенденцию в действующих частях к массовому переходу целых подразделений на сторону врага и т. п. Так, если за период с 15 сентября по 27 октября 1941 г. по частям Ленинградского фронта безнаказанно перешло на сторону противника 268 человек, то только за ноябрь 1941 г. — 622 человека, в том числе в составе взводов и рот.¹⁶ Эта тенденция чуть в меньшем объеме проявилась и в 1942 г.

Передача в октябре 1942 г. отделений военной цензуры при армиях Особым отделам НКВД ознаменовала окончание процесса неопределенности в истинном предназначении органов военной цензуры в общей системе политического контроля над советским обществом в условиях войны. 25 октября этого же года отделения военной цензуры 8-й, 23-й, 42-й, 54-й, 55-й армий Ленинградского фронта, Ленинградского гарнизона и окружного госпиталя были переданы в ведение Особых отделов НКВД СССР.¹⁷ С апреля 1943 г. общее руководство деятельностью армейских отделений и пунктов военной цензуры переходит в НКВД СССР через организованный на базе одного из отделений 2-го спецотдела НКВД СССР отдел «В» НКВД СССР под началом В. Смородинского.¹⁸ Позже, в мае 1944 г. все воинские отделения, ранее входящие в отдел «В», обслуживающий Ленинград и фронт, были переданы во фронтовой отдел военной цензуры НКГБ СССР при Ленинградском фронте в связи с его реорганизацией.¹⁹

Корреспонденция, идущая из тыловых районов на фронт, а это в основном личная переписка, в соответствии с приказом НКГБ СССР от 26 июня 1941 г. контролировалась исключительно 4-м отделом НКГБ СССР и его местными органами (отделениями и их пунктами). Введенная этим же приказом инструкция делила пункты «ПК» на три категории, отличающиеся друг от друга объемом выполняемых работ. Так, пункты «ПК»

г. Ленинграда относились к первой категории. В них осуществлялись все виды контроля почтово-телефонной корреспонденции, как внутренней, так и международной. Соответствующим был и штат пунктов. К примеру, пункты «ПК» третьей категории (со штатом менее 3 человек) осуществляли только отборку корреспонденции по оперативным заданиям.

Основные правила чистки предусматривали подготовку специальных меморандумов, которые сводились в тематические спецсообщения. В свою очередь тематические сообщения должны были носить обобщающий, а не частный (сюжетный) характер и отражать такие проблемы, как переписка подчиненного элемента с заграницей, отношение различных групп населения к событиям на фронте и внутри страны, политico-моральное состояние военнослужащих, работников тыла, перебои в отраслях народного хозяйства, происшествия и др. Определялся порядок и условия конфискации писем и других посланий. Описывались возможные приемы тайнописи, иные маскирующие тайнопись признаки и т. п. В пунктах 1-й категории создавались группы контроля за внутренней корреспонденцией, в обязанности сотрудников которых, помимо читки и оперативной обработки документов, входил просмотр их по почеркам с целью обнаружения авторов контрреволюционных анонимок.²⁰

Некоторые исследователи, в том числе и автор, предпочитали более тщательный анализ исходящей с фронтов корреспонденции, надеясь понять истинное положение на них и масштабы «фильтрации» негативной информации (с точки зрения властей).²¹ Но общие итоги работы территориальных подразделений цензуры, которые вплоть до 10 ноября 1945 г. находились в системе военной цензуры,²² могут существенно расширить представления о специфике проявления большевистского лозунга о неразрывной связи фронта и тыла и др.

Безусловно, судьба советского государства решалась прежде всего на фронтах, в военных сражениях и операциях. Поэтому укрепление органов военной цензуры действующих армий и фронтов признавалось военно-политическим руководством приоритетным. Соответственно требовалась и конкретные результаты.

Объемы проведенных мероприятий по контролю за исходящей воинской корреспонденцией на Ленинградском фронте, особенно в 1941–1942 гг., были действительно впечатляющими. Так, только с 22 июля по 6 августа 1941 г. военной цензурой Северного (с 23 августа — Ленинградского) фронта было подвергнуто обработка свыше 540 тыс. единиц корреспонденции. Не меньше работали с ней и в 1942 г. К примеру, за первые четыре дня февраля органы военной цензуры Ленинградского фронта обработали более 124 тыс. различных документов, а за семь последующих еще почти 257.5 тыс. единиц. За двадцать четыре дня марта 1942 г. им удалось пропустить через себя около 826 тыс. писем и телеграмм.²³

Нетрудно заметить, что увеличение отправлений писем и открыток с фронта происходило накануне и в ходе крупных сражений и боев. Больше всего отмечалось и их изъятий в этот период. При этом неудачи боев незамедлительно отражались в содержании посланий бойцов и командиров и заметно увеличивали число изъятых посланий. В этом плане весьма характерна ситуация на Северо-Западном участке советско-германского фронта, связанная с попытками советских войск снять блокаду Ленинграда.

Мало кто из исследователей истории Великой Отечественной войны не высказывал предположения, что широко задуманная стратегическая операция по полному снятию блокады Ленинграда в начале 1942 г. и разгрому группы армий «Север» была обречена

на провал, еще не начавшись.²⁴ Предпринятые удары советских войск на всем Северо-Западном направлении, явившиеся составной частью общего наступления Красной Армии зимой 1941/42 г., оказались незавершенными. Немецкая группа армий «Север» не была разгромлена, а Ленинград продолжал оставаться в блокаде.²⁵

Неудача очередной попытки изменить положение блокированного города, огромные потери в войсках и среди гражданских лиц, а также решение ГКО о массовой эвакуации населения из Ленинграда вызвали в частях Ленинградского фронта рост недовольства, дезертирства и перехода целых подразделений на сторону противника. Резко возросло число писем военнослужащих, содержащих отрицательные сообщения и характеризующих общую обстановку безнадежности и отчаяния.

Если в период стабилизации обстановки на фронте показатели отрицательных изъятий едва превышали один процент, то в условиях боев в январе–феврале 1942 г. они увеличились в три раза. Эта зависимость наблюдалась и позже. Так, обработка 1.2 млн единиц корреспонденций в армиях Ленинградского фронта с 11 февраля по 31 марта 1942 г. зафиксировала более 39.2 тыс. (3.2%) отрицательных сообщений, тогда как в период относительного затишья в конце 1942 г. было отмечено около 10 тыс. отрицательных изъятий (1.5%).

Сообщения, сводки и спецсообщения о работе военной цензуры, составленные на основе меморандумов, готовились не только для оперативных подразделений органов НКВД–НКГБ, но в первую очередь для командования армий и фронта. В условиях Ленинграда и для его непосредственного руководства — А. Жданова и А. Кузнецова.

Можно утверждать, что взаимосвязь между умонастроениями на фронте и в тылу была более тесной, чем об этом думали ранее. Скорее всего, в этот период посредством военной цензуры наиболее адекватно осуществлялся контроль за состоянием умов как в армии, так и в тылу страны. Без преувеличения можно полагать, что это было возможно лишь при придании цензорской работе всех черт аналитической деятельности.

Тщательный анализ доступных для исследователей сообщений о работе военной цензуры при армиях Ленинградского фронта за период с июля 1941 г. по январь 1943 г. показал, что до лета 1942 г. основательная аналитика практически подменялась изъятыми при чтении писем военнослужащих фрагментами, не подлежащими, как полагали цензоры, для ознакомления адресатов. Например, военнослужащий А. Шуров в феврале 1942 г. писал своей сестре И. Чупаловой в Чкаловскую область следующие (изъятые) строки «Не знаю сестра, уцелею я или нет, уже стал пухнуть и много убивают наших красноармейцев немцы. Когда мы идем в наступление нами не дорожат, который не убит, а ранен, истекает кровью, на морозе, на холода и умирает. Людей убитых горы, ходим через них, падаем, никто нами не дорожит...».²⁶

Лишь к началу 1943 г. в спецсообщениях о работе органов военной цензуры Ленинградского фронта стали появляться сведения, наиболее полно раскрывающие причинный комплекс некоторых негативных проявлений в действующих частях и в тыловых районах страны. Сообщения стали носить более содержательный характер и отражать практически все реалии фронтовой и тыловой повседневности. Благодаря этому улучшилась организация взаимодействия между различными органами военного, политического и народнохозяйственного управления.

Но в то же время сама система цензурирования в условиях войны тяготела к «политизации» процесса контроля, поиску элементов сопротивления существующему

режиму и т. п. Фактически за все годы Великой Отечественной войны, в частности на Ленинградском фронте, не было подготовлено ни одного сообщения органов военной цензуры, равно как и соответствующих территориальных подразделений, содержащего серьезные обобщения, раскрывающие проблемы укрепления действительно необходимой «неразрывной связи фронта и тыла» в интересах победы.

Факты свидетельствуют, что этот лозунг подвергся фильтрации совсем не случайно. Для властей, особенно высшего эшелона, советское общество периода войны стало еще и «непредсказуемым незнакомцем», возможно пожелавшим изменить некоторые векторы своего движения. В этих условиях превращение цензуры в рычаг управления, властевования и принуждения рассматривалось ими как самый эффективный путь.

Видимо, истина заключается в том, что цензура (ее содержание и направленность) в условиях войны нужна была постольку, поскольку «понятным» для властей являлось само воюющее с врагом общество. В сущности, величайшим его цензором в прошедшей войне выступило не государство, не носители власти, а сложный и противоречивый общественный дух, реальная и опосредованная сопричастность подавляющего большинства его граждан к общему делу Победы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Имеется в виду Указ ПВС Союза ССР «О военном положении» от 22 июня 1941 г.; директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР партийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г.; постановление ПВС Союза ССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об образовании Государственного Комитета Обороны (ГКО)» от 30 июня 1941 г. и др.

² Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917–1991 гг. М., 2002. С. 277.

³ Служба регистрации архивных фондов Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее — СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области). Ф. 8. Оп. 25. П. 7. Л. 369–371.

⁴ Там же. Ф. 8. Оп. 3. П. 273. Л. 36; Отдел специальных фондов Информационного центра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее — ОСФ ИЦ ГУВД СПб. и области). Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 66. Л. 24–26, 61, 62.

⁵ Эти мероприятия были осуществлены по приказу Управления НКВД ЛО от 15 января 1941 г. «О введении цензуры на все виды по-что-телеграфной входящей и исходящей корреспонденции действующих частей Красной Армии и Военно-Морского Флота и осуществлении цензуры над международной и почто-телеграфной корреспонденцией».

⁶ СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области. Ф. 8. Оп. 3. П. 245. Л. 40.

⁷ Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. С. 276.

⁸ Цензура в Советском Союзе. 1917–1991: Документы / Сост. А. В. Блюм. М., 2004. С. 314–315.

⁹ СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области. Ф. 8. Оп. 39. П. 241. Л. 392.

¹⁰ Иванов В. А. Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20-х — 40-х гг.: (По материалам Северо-Запада РСФСР). Дис. ... д-ра ист. наук. СПб., 1998. Л. 394.

¹¹ СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области. Ф. 8. Оп. 39. П. 258. Л. 357.

¹² Иванов В. А. Органы государственной безопасности и массовые репрессии на Северо-Западе в 30–50-е годы: (Историко-правовой обзор репрессивной документалистики). СПб., 1996. С. 49.

¹³ О неудовлетворительном состоянии этой работы говорилось в приказе НКВД СССР от 27 сентября 1942 г. «О мерах по улучшению работы Военной Цензуры».

¹⁴ СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области. Ф. 8. Оп. 39. П. 272. Л. 589.

¹⁵ Там же. Л. 589 об.; Приказ НКВД СССР от 13 июля 1942 г. «О введении военной Цен-

зуры во всех областях, краях и республиках Союза ССР», в частности, хотя и косвенно, характеризовал общее положение с руководством 3-ми отделами НКО работой органов военной цензуры.

¹⁶ Отдел регистрации архивных фондов Управления ФСБ РФ по Омской области (далее — ОРАФ УФСБ РФ по Омской обл.). Ф. 40. Оп. 14а. П. 10. Л. 61, 69, 70, 71, 189, 192, 198, 199.

¹⁷ СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области. Ф. 8. Оп. 39. П. 281. Л. 255.

¹⁸ Реорганизация и создание Отдела «В» НКВД СССР осуществлялась в соответствии с приказом НКГБ СССР от 7 июня 1943 г. «С объявлением “Положения об отделе «В» НКГБ СССР”». В изд.: Лубянка: Органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВБ–КГБ. 1917–1991. Справочник / Под ред. акад. А. Н. Яковлева. М., 2003 — подробно характеризуются этапы организационного укрепления НКГБ СССР после решения Политбюро ЦК ВКП(б) № П40/91 от 14 апреля 1943 г., но ничего не говорится об упомянутом выше приказе НКГБ от 7 июня.

¹⁹ ОСФ ИЦ ГУВД СПб. и области. Арх. № 146/5. Л. 2.

²⁰ СРАФ УФСБ РФ по СПб. и области. Ф. 8. Оп. 25. П. 7. Л. 381.

²¹ Иванов В. А. Миссия Ордена: Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20-х — 40-х гг.: (На материалах Северо-

Запада РСФСР). СПб., 1997. С. 281–285; Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. С. 276–288 и др.

²² В соответствии с постановлением СНК Союза ССР от 10 ноября 1945 г. «Об изменениях в системе Военной Цензуры почто-телефонной корреспонденции» с 1 января 1946 г. отменялось официальное цензурирование международной и внутрисоюзной почтово-телефонной переписки гражданского населения.

²³ Иванов В. А. Миссия Ордена. С. 284.

²⁴ Ленинград в борьбе месяц за месяцем 1941–1944 / Ассоциация историков блокады и битва за Ленинград в годы Второй мировой войны; Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. СПб., 1994. С. 93; Ленинградская эпопея: Организация обороны и население города. СПб., 1995. С. 32; Фролов М. И. Салют и реквием: Героизм и трагедия ленинградцев 1941–1944 гг. СПб., 2003. С. 82 и др.

²⁵ Непокоренный Ленинград. 2-е изд., доп. Л., 1973. С. 256; Типпельскирх К. История второй мировой войны / Пер. с нем. М., 1956. С. 205–206 и др.

²⁶ ОРАФ УФСБ РФ по Омской обл. Ф. 40. Оп. 14а. П. 11. Л. 104.